



МИРОВАЯ КЛАССИКА

А. БЕЛЫЙ



Серебряный голубь

Андрей Белый
Серебряный голубь

«АСТ»

1909

Белый А.

Серебряный голубь / А. Белый — «АСТ», 1909

«Серебряный голубь» – первое большое прозаическое произведение Андрея Белого, история любви поэта и простой деревенской женщины, разворачивающаяся на фоне событий, потрясших Россию во время первой русской революции.

© Белый А., 1909

© АСТ, 1909

Содержание

Вместо предисловия	5
Глава первая. Село Целебеево	6
Наше село	6
Дарьяльский	8
Пирог с капустой	11
Обитатели села Целебеева	13
Голубь	18
Невозвратное время	21
В чайной	24
Глава вторая. Город Лихов	26
Дорога	26
Лепеха	31
Лихов	34
Лик голубинин	38
Лиховское житье	43
Глава третья. Вспомнил Гуголево!	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Андрей Белый Серебряный голубь

Вместо предисловия

Настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии «*Восток или Запад*»; в «ней» рассказан лишь эпизод из жизни сектантов; но эпизод этот имеет самостоятельное значение. Ввиду того, что большинство действующих лиц еще встретятся с читателем во второй части «*Путники*», я счел возможным закончить эту часть без упоминания о том, что случилось с действующими лицами повести – Катей, Матреной, Кудеяровым – после того, как главное действующее лицо, Дарьяльский, покинул сектантов.

Многие приняли *секту голубей* за хлыстов; согласен, что есть в этой секте признаки, роднящие ее с хлыстовством, но хлыстовство как один из ферментов религиозного брожения не адекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов; оно – в процессе развития; и в этом смысле *голубей*, изображенных мною, как секты не существует; но они – возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле *голуби* мои вполне реальны.

А. Белый
1910 года, 12 апреля. Бобровка.

Глава первая. Село Целебеево

Наше село

Еще, и еще в синюю бездну дня, полную жарких, жестоких блесков, кинула зычные блики целебеевская колокольня. Туда и сюда заерзали в воздухе над нею стрижи. А душный от благовонья Троицын день обсыпал кусты легкими, розовыми шиповниками. И жар душил грудь; в жаре стекленели стрекозиные крылья над прудом, взлетали в жар в синюю бездну дня, – туда, в голубой покой пустынь. Потным рукавом усердно размазывал на лице пыль распаренный сельчанин, тащась на колокольню раскатать медный язык колокола, пропотеть и поусердствовать во славу Божию. И еще, и еще клинкала в синюю бездну дня целебеевская колокольня; и юлили над ней, и писали, повизгивая, восьмерки стрижи.

Славное село Целебеево, подгородное; средь холмов оно да лугов; туда, сюда раскидалось домишками, прибранными богато, то узорной резьбой, точно лицо заправской модницы в кудряшках, то петушком из крашеной жести, то размалеванными цветиками, ангелочками; славно оно разукрашено плетнями, садочками, а то и смородинным кустом, и целым роем скворечников, торчащих в заре на согнутых метлах своих: славное село! Спросите попадью: как приедет, бывало, поп из Воронья (там свекор у него десять годов в благочинных), так вот: приедет это он из Воронья, снимет рясу, облобызает дебелию свою попадьиху, оправит подрясник и сейчас это: «Схлопочи, душа моя, самоварчик». Так вот: за самоварчиком вспотеет и всенепременно умилится: «Славное наше село!» А уж попу, как сказано, и книги в руки; да и не таковский поп: врать не станет.

В селе Целебееве домишки вот и здесь, вот и там, и там: ясным зрачком в день косится одноглазый домишко, злым косится зрачком из-за тощих кустов; железную свою выставит крышу – не крышу вовсе: зеленую свою выставит кикю гордая молодлица; а там робкая из оврага глянет хата: глянет – и к вечеру хладно она туманится в росной своей фате.

От избы к избе, с холма да на холмик; с холмика в овражек, в кусточки: дальше больше; смотришь – а уж шепотный лес струит на тебя дрему; и нет из него выхода.

Посередь села большой, большой луг; такой зеленый: есть тут где разгуляться, и расплясаться, и расплакаться песеню девичьей; и гармошке найдется место – не то, что какое гулянье городское: подсолнухами не заплюешь, ногами не вытопчешь. А как завьется здесь хоровод, припомаженные девицы в шелках да в бусах, как загикают дико, а как пойдут ноги в пляс, побежит травная волна, заулюлюкает ветер вечерний – странно и весело: не знаешь, что и как, как странно, и что тут веселого... И бегут волны, бегут; испуганно побегут они по дороге, разобьются зыбким плеском; тогда всхлипнет придорожный кустик да косматый вскочет прах. По вечерам припади ухом к дороге: ты услышишь, как растут травы, как поднимается большой желтый месяц над Целебеевом; и гулко так протарарыкает телега запоздалого однодворца.

Белая дорога, пыльная дорога; бежит она, бежит; суха усмешка в ней; перекопать бы ее – не велят: сам поп наемни про то разьяснил... «Я бы, – говорит, – сам от того не прочь, да земство...» Так вот проходит дорога тут, и никто ее не перекапывает. А то было дело: выходили мужики с заступами...

Смышленные люди сказывают, тихо уставясь в бороды, что жили тут испокон веков, а вот провели дорогу, так сами ноги по ней и уходят; валандаются парни, валандаются, подсолнухи лущат – оно как будто и ничего сперва; ну, а потом как махнут по дороге, так и не возвратятся вовсе: вот то-то и оно.

Врезалась она сухой усмешкой в большой зеленый целебеевский луг. Всякий люд гонит мимо неведомая сила – возы, телеги, подводы, нагруженные деревянными ящиками с буты-

лями казенки для «винополии»; возы, телеги, народ подорожный гонит: и городского рабочего, и Божьего человека, и «сицилиста» с котомкой, урядника, барина на тройке – валом валит народ; к дороге сбежались гурьбой целебеевские избенки – те, что поплоче да попоганее, с кривыми крышами, точно компания пьяных парней с набок надвинутыми картузами; тут и двор постоялый, и чайная лавка – вон там, где свирепое пугало шутовски растопырило руки и грязную свою из тряпок кажет метелку – вон там: еще на нем каркает грач. Дальше – шест, а там – поле пустое, большое. И бежит, бежит по полю белая да пыльная дороженька, усмехается на окрестные просторы, – к иным полям, к иным селам, к славному городу Лихову, откуда всякий народ шляется, а иной раз такая веселая компания прикатит, что не дай Бог: на машинах – городская мамзель в шляпенке да стрекулист, или пьяные иконописцы в рубашках-фантазиях с господином шкубентом (черт его знает!). Сейчас это в чайную лавку, и пошла потеха; к ним это парни целебеевские подойдут и, ах, как горланят: «За гаа-даа-ми гоо-ды... праа-хоо-дяя-т гаа-даа... пааа-аа-гиб яяя, маа-аа-ль-чии-ии-шка, паа-гии-б наа-всии-гдаа...»

Дарьяльский

В золотое утро Троицына дня Дарьяльский шел по дороге в село. Дарьяльский проводил лето в гостях у бабки барышни Гуголевой; сама барышня была наружности приятной весьма и еще более приятных нравов; барышня приходилась невестой Дарьяльскому. Шел Дарьяльский, облитый жаром и светом, вспоминая вчерашний день, проведенный отрадно с барышней и ее бабинькой; сладкими словами позабавил вчера он старушку о старине, о незабвенных гусарах и о всем прочем, о чем старушкам приятно вспомнить; позабавился сам он прогулкой с невестой по гуголевским дубровам; еще более он наслаждался, собирая цветы. Но ни старушка, ни гусары ее незабвенной памяти, ни любезные сердцу дубровы с барышней, более еще ему любезной, сегодня не возбуждали сладких воспоминаний: давил и душил душу жар Троицына дня. Сегодня не влек его вовсе и Марциал, раскрытый на столе и слегка засиженный мухами.

Дарьяльский – имя героя моего вам разве не примечательно? Послушайте, ведь это Дарьяльский – ну, тот самый, который сподряд два уж лета с другом снимал Федорову избу. Девичьим раненным сердцем два сподряд лета искал он способа наивернейшей встречи с барышней любимой здесь – в целебеевских лугах и в гуголевских дубровах. В этом он так обошел всех, что и вовсе на третье лето переселился в Гуголево, в бабинькину усадьбу, к баронессе Тодрабе-Граабеной. Ветхая днями старушка строгого была мнения насчет выдачи внучки за человека молодого, у которого, по ее мнению, ветер свистал не в голове только, но (что всего важнее) в карманах. Дарьяльский сызмальства прослыл простаком, лишившись родителей и еще ранее родительских средств: «бобыль бобылем!» – фыркали в ус степенные люди; но сама девица держалась иных мнений; и вот после длинного объяснения с бабкой, во время которого хитренькая старушка не раз корячилась на кресле, испивая воды, красавица Катя взяла да и бухнула напрямик целебеевским поповнам, что она – невеста, а Дарьяльский в богатейшую перебрался усадьбу с парком, с парниками, с розами, с мраморными купидонами, обросшими плесенью. Так юная красавица успела убедить ветхую старушку в приятных качествах прохожего молодца.

Дарьяльский сызмальства прослыл чудачком, но, говорят, такое прошел ученое заведение, где с десятков мудрейших особ из года в год невесть на каких языках неприличнейшего сорта стишки вместо наук разбирать изволят – ей-Богу! И охотник же был Дарьяльский до такого сорта стишков, и сам в них преуспевал; писал обо всем: и о *белолилейной пяте*, и о *мирре уст*, и даже... о *полиелее ноздрей*. Нет, вы не подумайте: сам выпустил книжицу, о многих страницах, с изображением фигового листа на обертке; вот там-то и распространялся юный пиита все о лилейной пяте да о девице Гуголевой в виде молодой богини как есть без одежд, а целебеевские поповны хвалили назло попу: поп божился, что все только о голых бабах и писал Дарьяльский; товарищ оправдывал его (товарищ и по сю пору снимал дачу в Целебееве), – оправдывал: плодом вдохновения пиита-де не голые бабы, а богини... Но, спрошу я, какая такая разница между богиней и бабой? Богиня ли, баба ли – все одно: кем же, как не бабами, в древности сами богини были. Бабами, и притом пакостного свойства.

Был весьма скромнен товарищ Дарьяльского: носил нерусскую фамилию и проводил дни и ночи за чтением философических книг; он хотя отрицал Бога, однако к попу хаживал; и поп это ничего себе; и власти это ничего; и вовсе он православный, только Шмидт ему фамилия да в Бога не верил...

Опять оторвался от думы Дарьяльский, уже подходя к церкви; он проходил мимо пруда, отраженный в глубокой, синей воде: оторвался и опять ушел в думы.

Когда нет туч, свежо и точно выше подтянуто высокое небо, такое высокое и глубокое; луг обнимает валом этот хрустальный, зеркальный и чистый пруд, и как там плавают грустные уточки – поплавают, выйдут на сушу грязцы пощипать, хвостиками повертят, и чинно, чинно

пойдут они развальцем за крякнувшим селезнем, ведут непонятный свой разговор; и висит над прудом, висит, простирая лохматые руки, дуплистая березонька много десятков лет, а что видывала – не скажет. Дарьяльскому захотелось броситься под нее и глядеть, глядеть в глубину, сквозь ветви, сквозь сияющую кудель паука, высоко натянутую там – там, когда жадный паук, насосавшийся мух, неподвижно распластан в воздухе – и кажется, будто он в небе. А небо? А бледный воздух его, сперва бледный, а коли приглядеться, вовсе черный воздух?.. Вздрогнул Дарьяльский, будто тайная погрозила ему там опасность, как грозила она ему не раз, будто тайно его призывала страшная, от века заключенная в небе тайна, и он сказал себе: «Ей, не бойся, не в воздухе ты – смотри, грустно вода похлопывает у мостков».

На мостках здоровые торчали ноги из-под красного, подоткнутого подола да руки полоскали белье; а кто полоскал, не видно: старуха ли, баба ли, девка ли. Смотрит Дарьяльский, и мостки кажутся ему такие грустные, хотя и день, хотя и кличет праздничный колокол в ясном небе. Ясный солнечный день, ясная солнечная водица: голубая такая; коли заглянуть, не знаешь, вода ли то или небо. Ей, молодец, закружится голова, отойди!

И Дарьяльский отошел, и пошел он прочь от пруда, к селу, к ясному храму, недоумевая, откуда в душу к нему заронила печаль, что, как в детстве, приходит невесть откуда, и влечет, и уносит; и все называют тебя чудяком, а ты, вовсе того не замечая, говоришь невпопад, так что улыбаются на речи твои, покачивая головами.

Шел Дарьяльский, раздумывал: «Чего мне, черт меня побери, надо? Не хороша ли моя невеста? Разве она не любит меня? Я ли ее не искал вот два уж года: нашел, и... прочь вы, дивные думы, прочь...» Еще три только дня, как обручился с любимой он; думал о том, как ему повезло в глупом собрании, где острым улыбнулся словечком красавице барышне; как потом он за ней приударил; а и не сразу далась ему красавица; вот, наконец, беленькой ручки ее он добился; вот и ее кольцо золотое на пальце; оно еще непривычно жмет ему руку... «Милая Катя, ясная», – прошептал он и поймал себя на том, что не нежный девичий образ в душе его, а так что-то – разводы какие-то.

С такими мыслями он вошел в храм; запах ладана, перемешанный с запахом свежих березок, многих вспотевших мужиков, их смазных сапог, воска и неотвязного кумача так приятно бросился в нос; он уже приготовился слушать Александра Николаевича, дьячка, выбивавшего с левого клироса барабанную дробь, – и вдруг: в дальнем углу церкви заколыхался красный, белыми яблоками, платок над красной ситцевой баской; упорно посмотрела на него какая-то баба; и уже он хотел сказать про себя: «Ай да баба», крякнуть и приосаниться, чтобы тут же, забыв все, начать класть поклоны Царице Небесной, но... не крякнул, не приосанился и вовсе не положил поклона. Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему грудь, и уже не чувствовал, что бледнеет; что белый, как смерть, он едва стоит на ногах. Волненьем жестоким и жадным глянуло на него безбровое ее лицо в крупных рябинах; что ему оно, это лицо, говорило, чем в душе оно отозвалось, он не знал; вот там колыхался только красный белыми яблоками платок. Когда очнулся Дарьяльский, уж дробь свою с левого клироса отбарабанил Александр Николаевич, дьячок; и уже не раз на амвон выходил отец Вукол и бегал солнечный зайчик в рыжих его волосах и на серебряной, затканной синими букетами, ризе; поп коленопреклонялся теперь за открытыми воротами алтаря; и уже пропели «дори носима чинми»; а пять дочерей помещика Уткина – вон та, вон и эта – попеременно поворачивали к Дарьяльскому свои круглые, как репа, лица и потом чинно стояли, выпятив губки капризно, до непристойности, в то время как шестая (старая девица) с кустом спелых вишен на шляпе досадливо кусала губы.

Кончилась служба; выйдя с крестом, поп принялся одарять пузатыми просфорами помещицу Уткину, шесть спелых ее дочерей и тех из мужиков, кто побогаче да поважнее, у кого поновей зипун да сапоги со скрипом, кто мудростию своего ума сумел сколотить богатые хаты, скопить деньжищ тайной продажей вина либо мастерскими сделками – словом, того, чей норв покрунее да попримистее прочих; те подходили к честному кресту благолепно

и чинно, не без достоинства склоняя бородатые лица с обрезанными в скобку волосами, пропитанными запахом деревянного масла; а когда отошли от амвона именитые сельчане, поп довольно-таки решительно загулял крестом по носам толпившихся зипунов (недаром шипела «учительша», будто ей, Шкуренковой, поп резанул крестом по зубам, так что зубы болели долго). Уже Дарьяльский подходил к кресту, уже поп одной рукой протягивал ему крест, а другая рука протянулась за просфорой, как вдруг снова его обжег взор дивной бабы; легко дрогнули красные ее, усмехнувшиеся губы, испивая будто душу его вольготно; и не помнил, как приложился к честному кресту, и как поп звал его на пирог, и что он ответил попу: только помнил он, что души его запросила рябая баба. Тщетно затвердил он, вызывая в душе образ Кати: «Хорошая невеста, добрая моя невеста!» – любимой образ оказался будто выведенным мелом на школьной доске: злой учитель стер его губкой, и теперь оказалась там как есть пустота.

Рябая баба, ястреб, с очами безбровыми, не нежным со дна души она восходила цветком, и не вовсе грезой, или зорькой, или медвяной муравкой, а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала; и будила нежных уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, легкую грусть, и смех, и бесстыдство: так жерло тысячелетнего прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминанье о том, чего не было в жизни твоей никогда, будит неведомый, до ужаса знакомый во сне лик; и лик восходит образом небывалого и все же бывшего детства; так вот у тебя какой лик, рябая баба!

Так думал Дарьяльский – не думал, потому что думы без воли его совершались в душе; а уже она вышла из церкви, а за ней потащился столяр Кудеяров хворым своим лицом, опуская в желтое мочало бороды всю шестерню; толкнул Дарьяльского, поглядел – миг: глянуло его лицо, от чего на душе пошло невнятное что-то такое – разводы какие-то. Не помнит Дарьяльский, как вышел он на паперть; не слышал, как зычные клики кинула целебеевская колокольня и как повизгивали, ерзая над нею туда и сюда, стрижи. Троицын день обсыпал легкие, розовые шиповники, и мухи садились стаями звонких изумрудов на калимые солнцем спины выцветших зипунов.

Прохожий парень, тиская гармошку, ее прижимал к своему животу, а от ног его мягко взлетала беззвучными взрывами пыль; вот прогорланил он что-то на дороге; на дороге тянулись возы; визжали, скрипели немазаные колеса; железные крыши изб и озлобленные огнем окна (те, что не были заткнуты подушкой) кидали прочь от себя солнечный блеск. Вдали выступали парами дородные девицы в зеленых, синих, канареечных и даже золотых басках на толстых тальях; они нацепили на ноги тупые ботинки наподобие обрубков и теперь выступали павами. Тонкие ветви плакучих берез по временам трогались над кладбищем. Кто-то свистел, и кусты отдавались свистом. Над родительской могилкой склонялась Домна Яковлевна, дочь покойного целебеевского батюшки, старая девица; из смородинника вышел церковный сторож и, приложив руку к глазам, издали дозирал за девицей; будучи с ней не в ладах, он громко ворчал, будто бы в пространство, но так, чтобы его слова Домна Яковлевна могла услышать: «Вырыть бы кости да опростать место; и так тесно, а тут еще кости беречь...» Потом, подойдя ближе, он ласково стащил свой картуз и шутливо заметил: «Что, пришли навестить папашу? Есть что навещать: сгнили небось останки-то...»

«Фу ты, дьявольщина!» – подумал Дарьяльский и стал протирать глаза: спал он или не спал там, в храме; привиделось ему или нет; глупости: должно быть, вздремнул – нехорошо грезить в полдень; недаром в Писании сказано: «Избавь нас от беса полуденна»...

И, закручивая ус, Дарьяльский пошел к попу, насильно вызывая в душе образ Кати, а под конец затвердил на память любимые строчки из Марциала; но Катя оказалась не Катей вовсе, а вместо строчек из Марциала, неожиданно для себя, он стал насвистывать: «Гоодыы заа гаа-даа-мии праа-хоо-дят гаа-даа... Паа-гии-б я, мааль-чии-шка, паа-гиб наа-всии-гда...»

Так неожиданно начался этот день для Дарьяльского. С этого дня поведем и мы наш рассказ.

Пирог с капустой

– Пфа!..

Это крикнул поп, пропуская с Александром Николаевичем, дьячком, еще по одной и закусывая рыжичками, собираемыми по осень добродетельной попадшей и многочисленными чадами мал мала меньше.

Попадья окончила три класса лиховской прогимназии, о чем всегда любила напоминать гостям; на разбитом пьянино игрывала еще она вальс «Невозвратное время»; была дебелая, толстая, с пунцовыми губками, карими, словно вишенья, глазками на очень нежном, почти сахарном лице, усеянном желтенькими веснушками, но с двойным уже подбородком. Вот и теперь она сыпала шутками о поповском житье, о зипунах сиволапых, да о Лихове, суетясь вокруг пылающего паром пирога и нарезавая громадной величины ломти с необъятными стенками и очень тоненькой прослойкой капусты. «Анна Ермолаевна, откушайте еще пирожка!.. Варвара Ермолаевна, что ж так мало?» – обращалась она попеременно к шести спелым дочерям помещика Уткина, образовавшим приятный цветник вокруг опрятно накрытого стола; и стоял птичий щебет, исходивший из шести раскрытых розовых ротиков, да попискивание о всех новостях, происходящих в округе; ловкая попадья едва успевала накладывать пирога, порой давая шлепки не вовремя подвернувшемуся попенку, слюняво жующему краюху и с неумытым носом; в то же время тараторила она больше всех.

– Слышали ли вы, матушка, о том, что урядник сказывал, будто самые эти сицилисты показали недалеко от Лихова, разбрасывали гнусные свои листы; будто хотят они идти супротив царя, чтобы завладеть «Монополей» и народ спаивать, будто грамоты царь разослал всюду, пропечатанные золотыми буквами, призывая православных бороться за святую церковь: «Пролетарии-де, соединяйтесь!»; говорят, что со дня на день лиховский протоиерей ждет царского послания, чтобы разослать его по уезду... – Так неожиданно выпалил Александр Николаевич, дьячок, дернул рябиновым своим носом и законфузился, когда шесть девичьих головок, устремленных на него, явное выразили и крайнее презренье...

– Пфа! – крикнул поп, наливая Александру Николаевичу наливки. – А ты знаешь, брат, что есть пролетарий?.. – И, видя, как то место на дьячковском лбу, где должны бы быть брови (бровей дьячок не носил), изобразило дугу, поп присовокупил с изобразительностью: – Так-то, брат: пролетарий и есть тот, кто, значит, пролетит по всем пунктам, тоись вылетел в трубу...

– Ну, ты это оставь, отец Вукол! – шепнула проходящая попадья, обращая свои слова не к приятному и вместе шутливому смыслу поповского пояснения, а к рябиновке, за которой уже не раз протягивался ее благоверный; на что поп буркнул: «Пфа!» – и пропустил еще по одной с Александром Николаевичем, дьячком; потом оба они закусили рыжичком.

Дарьяльский молча покуривал на углу стола, то и дело прикладываясь к рябиновке, и уже охмелел, но хмель его странные не развеял думы; он хотя и зашел на пирог, потому что вовсе ему не хотелось идти в Гуголево, однако был так угрюм, что невольно все перестали с ним заговаривать; тщетно уткинские барышни пробовали с ним щебетать; тщетно томные свои на него обращали взоры, обмахиваясь кружевными платочками с явным кокетством; с явным кокетством оправляли они свое декольте; или довольно-таки прозрачно намекали на сердце Дарьяльского и шалуна Купидона, пронзившего оно; Дарьяльский или просто не отвечал, или вовсе невпопад гымкал, или явно соглашался с намеками девиц о состоянии своего сердца, опуская всякую игривость; и совсем уж не обращал он внимания на девические глазки, ни, тем более, на девическое декольте, увлекательно розовевшее из сквозных их кисей. Два года валандался Дарьяльский в здешних местах, и никто не мог сказать, с какою целью; деловые люди предполагали сперва, что цель есть, что цель должна быть и что цель эта – противоправительственная; находились и любопытные согладатаи, любители пошущукать, а при случае и доне-

сти (более всех заинтересовался Дарьяльским глухонемой Сидор, первый сплетник в округе, не могущий произнести ни одного слова, кроме невразумительного «Апа, апа», – но вразумительно изъясняющийся жестами) – ну, вот: но ни Сидор, ни какие иные не нашли в поведении Дарьяльского ничего вредного; тогда порешили, что появление его в этих местах имеет иной смысл и что смысл этот – брачный; тогда каждая девица в округе вообразила, будто она-то и есть предмет воздыханий любовных; вообразили это и все шесть уткинских дочерей; и хотя каждая из них вслух называла сестру предметом Дарьяльского, про себя она заключала иное; и потому-то всех как громом поразило сватовство его за Катенькой Гуголевой, богатейшей баронессиной внучкой; никто и не воображал, чтобы, откровенно выражаясь, сумело суконное рыло затесаться в калачный ряд. Должен оговориться, что выражение «суконное рыло» употребляли в отношении к моему молодцу в особом обороте: ибо часть тела, в просторечии называемая, с позволения сказать, «рылом», выражаясь просто, была и не суконная вовсе, а, так сказать, «бархатная»: поволока черных глаз, загорелое лицо с основательным носом, алые тонкие губы, опушенные усами, и шапка пепельных вьющихся кудрей составляли предмет тайных желаний не одной барышни, девки, или молодой вдовы, или даже замужней... или, простите за выражение, ну, скажем... так-таки прямо и скажем... самой попадыхи. Поудивлялись, поахали, но скоро привыкли; пребывание Дарьяльского в наших местах определилось само собою; уж не следили теперь за ним, да и следить было трудно: в баронессину усадьбу не всякий был вхож. Были, правда, иные здесь люди, которые лучше поняли, что нужно моему герою (любви ли и еще кое-чего), куда устремлялся тоскующий взгляд его бархатных очей, как любострастно да страстно глядел он вперед перед самим собой в то время, когда впереди не было ни единой девицы, ни даже на кругозоре, а кругозор пылал и светился вечерней зарей; понимали и многое они другое в Дарьяльском и, так сказать, окружили его невидимой сетью поглядыванья для каких-то никому неведомых целей; были это люди простые, необразованные вовсе: ну, да о них потом, – скажем только: *были такие люди*; скажем и то, что если бы разумели они тонкости пиитических красот, если б прочли они то, что под фиговым укрывалось листом, нарисованным на обложке книжицы Дарьяльского, – да: улыбнулись бы ах какою улыбкой! Сказали бы: «Он – из наших...» Ну, да про то сейчас не время вовсе; но время как раз представить самих именитых целебеевцев этих.

Так – вот!

Обитатели села Целебеева

Именитые люди, не побрезгуйте нашим селом: частенько наезживало сюда вашего брата, и никому уж под конец не удивлялись. Нос не дерите, никакого не будет толку: поспешите, людей насмешите – мужики вас осмеют и пойдут прочь гурьбой, сморкаясь в руку; оставят одного на лугу перед утками: ходи, мол, один, собирай себе цветы, удивляй уток: разве учительшу повстречаешь; а что учительша: такая, право, гадость.

Ничему-то как есть не удивляется народ. Приедешь, гостем будешь; всякими тебя пирогами угостят – голодным не отпустят; лошадям овсеца подсыпят, ямщику поднесут сотку: живи себе на здоровье, отращивай жир; не хочешь, Бог тебе судья: свой век без тебя сумеют прожить целебеевцы.

Как начнет, бывало, болтливая баба по пальцам пересчитывать именитых гостей, – кого-кого не насчитает: и купца Еропегина, богатейшего лиховского мукомола, и отца благочинного из Воронья, и барона Тодрабе-Граабена, важного генерала (сынка Граабеной старушки, проживающей в Гуголеве), и гостей из Москвы: это гости к поповнам все ездили, дочерям покойного целебеевского батюшки, девицам достойным, о которых многое есть кое-чего порассказать: обзавелись они тут домком после родительской смерти – Аграфена Яковлевна, Домна Яковлевна и Варвара Яковлевна; так вот: к ним и студенты хаживали, и сочинители, да: однажды песенник у нас появился: их петь заставлял, с девками хороводы водил, а сам в книжечку все записывал. – «Песельник, и скубент ли, забастовщик ли, – говорили добрые люди, – а, пожалуй, што и забастовщик: долго тут парни горланили апосля: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» А куда подымаца? И без него на работу всякий со светом у нас подыматся!» Станет бойкая баба по пальцам пересчитывать, и будет казаться тебе, что у русского люда только и есть, пожалуй, одно дело: жить в Целебееве или ездить в Целебеево; пересчитала бы всех гостей баба, разве что не хватает пальцев: глазами уставится в землю, а у самой в лице важная эдакая небрежность: «Мы-де сами с усами...»

Вот и задери-ка тут нос!

Люди степенные проживают в Целебееве: во-первых, Иван Степанов много годов лавку тут держит – красным товаром торгует; этому не перечь: живо сдерет с тебя шкуру, без штанов по миру пустит, жену обесчестит; а уж красного петуха ожидай; да и роду твоему и племени головушек не сносить; сродственникам, сватьям да зятьям сродственников влетит – и все тут: богобоязненный мужик, сам за прилавком в церкви стоит, медяками позвякивает; из себя благолепный, борода лопатой, волосы в скобку, сапоги бутылками, с набором, со скрипом, всегда смазаны дегтем, при медных часах.

Во-вторых, поп, отец Вукол Голокрестовский, с попадьихой, знатный поп, в округе не встретишь такого попа, – объезди на сорок верст округу! – трудолюбивый поп, строгий, молитвенник.

А как выпьет это вина, сейчас попадьиху усадит на гитаре брэнчать (настоящая у них гитара: как переехали в село лет восемь тому назад, так и гитару с собой привезла попадьиха; правда, гитара с порванной струной, да на то и попадьиха, чтобы на трех только струнах без стеснения тарарыкать – на то и три класса окончила попадьиха лиховской прогимназии!), – да: сажает попадьиху на гитаре играть: «Играй, Маша, персидский марш!» У самого лицо лоснится, желтыми пойдет веснушками, а все глазами в палисадник посверкивает: «Играй, Маша, житейское отложив попечение». А попадьиха в слезы: «Вы бы, отец Вукол, спать пошли». И пошел бы спать поп Голокрестовский, кабы не дьячок: на то и дьячок, чтобы попа подзуживать. Ну, вот и запрется: играй да играй. Плачет попадьиха и трынкает гитарой, а поп сейчас это в позицию: засучит рукава и воображает себе во утешение и дьячку в назидание взятие мощной крепости Карса; воображает, пока есть мочь воображать, пока над церковным кре-

стом не завизжат пронзительные стрижи, пока хладные капли, как гроздь прозрачных ягод, не повиснут на смородинных кустах поповского палисадника, пока огненный не раскидает закат над краем хаты красные бархаты; рыженькую бородку вздернет тогда на зарю отец Голокрестовский, кудрями потряхивает, ногами пристукивает, ладонями плавно то слева направо, то справа налево поводит: «Слушайте – бьет барабан: неприятельские войска переходят мост: зажарили пулеметы... Ага, примем к сведению!»

И в заре, на заре гитара «трынды, трынды» – заливается; заливается над гитарой попадьиха, соленые слезы глотает, а бросить гитары не смеет: за этим следит Александр Николаевич, дьячок; поп бы и не заметил, да Александр Николаевич сейчас ему и донесет; дьячок хоть и хмельной, а все помнит: сидит над рябиновкой, дергает рябиновым своим носом и дивуется на попа; а поп воображает: согнется в три погибели, голова в плечи уйдет – и шарк в кусты; что там делает, Бог весть, только по выходе из кустов он это крикнет: «Ура, наши победили!» (воображение имел поп). Как крикнет он «победили», так попадьиха гитару в сторону: знает, что больше не станет воображать отец Вукол: спать пойдет до утра; присмиреет и дьячок и, затянув стих царя и псалмопевца Давида, бредет, пошатываясь, к дьячихе, где здоровая его ожидает таска. А поп, утром проснувшись, смиренхонько, сам сбегает в лавку к Ивану Степанову за мятными пряниками (пятнадцать копеек фунт) и угостит ими свою дебелую половину; тем дело и кончится.

И уж знает народ: как затрынкала в поповском смородиннике гитара, значит, поп захмелел и воображает взятие крепости Карса храбрым воякой и турок жестокое поражение; собираются в кусты: хорошо воображает поп; глазают, лушат подсолнухи, хихикают, тискают девок, те визжат – и все врассыпную. Хорошо воображает поп: а в прочее время – ни-ни, чтобы что-нибудь такое: требовательный, исправный, хозяйственный; и с дьячка часто взыскивал.

Таков поп в Целебееве: славный поп, другого не сыщешь, другому не дойти до всего такого, ей-Богу, не дойти! Вот какое наше село, вот какие люди в нем проживают: славное село, славные люди!

Но не видано нигде, чтобы друг с другом в ладу жили славные соседи, чтобы равно величали они друг друга поклонами, лаской, подарками и прочей приязнью: этот тебе и шапку ломит, и спину согнет на богатство соседа, на его глянцевитые со скрипом сапоги, не потому, чтобы при случае не надел пиджачной пары, а любезности ради, а сосед: – нос задерет сосед, руки в карманы; и обидно: сердце горит, указывает обороняться: не фря ведь какая: сам у себя в избе хозяин иной в красном углу под образами сидит, не у чужого; так вот и начинает сосед соседу вредить, честь свою оберегая: непотребное слово на соседском заборе выведет или соседскому псу бросит мясной кус с воткнутою иглою: пес подохнет – и вся тут, а соседи разойдутся, будут друг друга подсиживать да подпаливать, доносами изводить: глядишь – один другого пеплом развеет по ветру.

А с чего бы!

Еще диву давались, что крепко Ивана Степанова руку держал отец Голокрестовский; ну да и тот попа не выдаст, перед попом усмирятся, когда на попа смотрит, уж не молоньями его исходят глаза, а так они какие-то – рыбы, мутные... Ублажали друг друга.

Бывало, как испечет попадьиха с капустой пирог, засылает просить Степаныча поп к ним пожаловать горяченького откусать, а то и сам засуется: как печется пирог, приложением носа к корке все пробует, пропеклось ли тесто; потом сам выберет кусок пожирнее и с работником отошлет в Степанычеву лавку. Не оставался у попа внакладе и Иван Степаныч: засылал к попадьихе с гниловатым ситчиком (на баску), потчевал лежалыми леденцами в завитых бумажных обертках, сухими пряниками и прочими десертами; и сласти не переводились в поповском доме: и оттого гибель разводилась мух.

Не малое вспомоществование дал лавочник на церковный ремонт. Старинная была церковь; старой работы иконопись – строгие, черные, темные лики: и святитель Микола, и муд-

рейший язычник – Платоном звали, – и эфиопский святой с главою псиною, из арапов (видно, по Минеям расписывали в старину) – хмурые, хмурые лики: просто глядеть невесело; вот как приехали богомазы из города, первым делом лики скоблить принялись – соскоблили, стену отштукатурили, по свежему грунту веселых, улыбочивых святых (помоднее, с манерами) расписали по примеру лиховского собора; куда стало поваднее! Да тут вышла история.

Надо вам сказать, что богомазам крепко запала мысль сорвать на харчи с крутого лавочника, а к тому никак не подойдешь: потому – лавочник; возьми да и выведи под Ивана Степанова некоего мужа хитрые богомазы: в шуйце пятиглавую церковку держит муж на манер просфоры, а в карающей деснице изволит подъять меч тяжелый и вострый – как есть Иван Степанов... только в парчах, с омофором, вокруг головы сусального золота круг с церковными буквами; и грозой грозят его очи, соблюдая дозор, – совсем как лавочника (особенно ежели замыслит лавочник пустить красного петуха под врага и супостата!). Да, вот еще: вздумали улыбаться? Коли взойти в храм, я вам сейчас этого и укажу мужа: по сию пору праведный муж с правой стороны от иконостаса разрисован (можете посмотреть). Ну, да и так поверите!

С той поры частенько простаивать стал у иконы службу Иван Степанов прихожанам для очевидности: смотрите, дескать, и сравнивайте; бывало, истово крестится, а сам посматривает по сторонам: сравнивают ли; а кругом шушуканье... Помещица Тюрина (было дело) приходит в Степанычеву лавку и улыбается; Уткин под Троицын день пришел, посмотрел эдак на Ивана Степановича сверху вниз, а потом снизу вверх, да и спросил его прямо: «Ну, что?» А тот так-таки прямо ему в ответ: «Да что: ничего – поскрипываем». Колченогий же столяр ходил, ходил в церковь, да и не стерпел – прямо к попу: «Так, мол, и так, батюшка, – срамота-то какая». Но поп и глазом не сморгнул: «А ты, – говорит, – еще докажи, что тут есть намеренное сходство, а не случайное совпадение ликов: Степаныч мужик богобоязненный; может, он молится этому угоднику, ну и носит на лице молитвенника печать; да ты вовсе и не понимаешь, брат, сих, можно сказать, эмблематических начертаний; а кощунства никакого тут нет. Кабы и было, то согрешили богомазы; с богомазов и спрашивай; а запретить Степанычу под иконой стоять, посуди ты сам, не могу – мое ли дело: храм Божий для всех... А ты нишкни да смиришь: лучше о своих прегрешениях подумай...» Сплюнул столяр и пошел от попа прочь.

Ворчала и учительница: «Безобразие, испакостили церковь». Но кто станет обращать на учительницы слова? И какая такая она власть? Хорошо, если бы земский, волостной или кто иной, ежели, скажем, сам генерал Тодрабе-Граабен свое суждение на сей счет высказал, ну, тогда – другое дело; но волостной сам кум Ивана Степанова, сам в лапы к нему попал давно; земский молчит, а генерала Тодрабе-Граабен никто никогда в храме нашем не видывал. А тут, изволите ли видеть, с какой-то Шкуренковой, учительницей, считайтесь; а посмотрите, какая такая она из себя: лицо зеленое-раззеленое, всегда лоснится, веснушчатое – щеголяет себе в розовеньких да лиловеньких кофтышках.

И грошовой же у нее кофтышки! Ситчик либо миткалик по четыре алтына за аршин; как выстирает, сейчас это пятнами кофтышка пойдет (девки ее все на смех подымали); парня ли красивого увидит, дачник ли подвернется, – юбочки подберет (а чулок-то у нее рваный), носком вертит, и ну плезир в глазах изображать.

Кто посмотрит на учительницы слова? Кто, кто попу подставлял ногу, перед кем смирялся многотерпеливый поп? Перед ней, перед ней, потому что к ней и не придерешься: все с «хи-хи» да с «ха-ха», будто шутки шутит; а какие там шутки! так в самое большое место и норовит ужалить: «Что это долго супруга у вас «Персидского марша» не играла? Воображение имею большое и до музыки охотница страсть какая, ах какая! Вы бы ее почаще просили», – глазки закатит, у самой губы от смеха ходуном; однажды при помещике Уткине и при шести спелых его дочерях – Катерине, Степаниде, Варваре, Анне, Валентине, Раисе – шпильку попу всадила. Поп смолчит, а иной раз так это разгорячится, что дьячка призовет, пошлет за водкой – глядишь, гитара в смородиннике и затрынкала, а учительница злорадствует.

Только раз поп не стерпел: как пришел домой, засел строчить донос; строчил, строчил – ну и настроил же: будто придерживается заноза неведомого вероисповедания и с кавказскими молоканами в сношение-де вступить намерена для ниспровержения предержавших властей; оттого-де и социалистка; и ребят не учит, а все только пакостью занимается, чему свидетель он, настоятель целебеевского храма. Так это красиво все подвел, со смыслом связал, на Ивана Степанова как на свидетеля указал; сейчас видно – воображение у попа есть, и взятие крепости Карса изображал не раз. Иван же Степанов от себя показал, что она учительница Шкуренкова без лишних два года его, Степанова, соблазняет, все угрожая при первой удобной оказии над ним учинить любодейственное насилие.

Расписались, запечатали в конверт; да вовремя не послали – задумались: не было бы чего от начальства: начальство бы не поверило. Если признаться, веры учительша придерживалась православной, а что ребят она грамоте учила, то всякий видел: ну, против грамотности не пойдешь; и земский, и урядник у нас в ту пору за грамотность держались крепко.

Она возьми да узнай про умысел попа; и опять попа подсидела: поп объезжал свой приход; известное дело: всякий ему в телегу яйца клал, мучки, хлебца, луку (поборами с прихожан жили попы); возвращался он с телегой, полной муки, хлеба, яиц, и остановился у школы, у колодца воды испить; бойкая же девица вышла и затарабарила, захихикала: «хи-хи» да «ха-ха»; взяла да будто невзначай села в телегу; села и продавала яйца – продавала до полсотни яиц: вот тебе, дескать, а что с меня возьмешь?

С той поры они и разошлись: э, да что тут: двое дерутся – третий не суйся; ругаются – помалкивай.

Другой примечательный обитатель села – столяр: Митрий Кудеяров. В той самой он проживал избенке, что из пологого выглядывает лога; если встать на холмик, то... вон там его крыша – вон там: еще оттуда на нас потянуло дымком.

Столяр выделявал мебель и заказы имел не только из Лихова – из Москвы; сам колченогий, хворый, бледный, и нос как у дятла, и все кашляет, а поставляет в мебельные магазины; частенько к нему с дороги захаживали: всякий люд по дороге гнала невидимая сила: цыганы, сицилисты, городские рабочие. Божьи люди так бы и проходили; ан нет: случилось тут у нас Кудеярову быть: к нему-то и завертывали. Оттого и тропочка с дороги к логу его обозначалась все явственней. Как, бывало, темненькая на дороге к нему заковыляет фигурка или желтый подыметя прах и там, в желтом прахе, тарарыкает уж телега, – на холмик подыметя Митрий, ладонь приложит к глазам – и ждет... И чего это он все ждал? Ждет – а мимо гнала всякий люд невидимая сила: протарарыкает телега, минует село; тот пройдет, другой, прогорланив песню; иной и свернет на тропочку: значит, к Митрию. Не любил столяр отвечать на расспросы: «Кто да кто у тебя чайничал?» – «Так: ничего себе». Нахмурится, смолчит.

Ничего себе, гостеприимный; придешь к нему, бабу свою (жену схоронил Митрий) пошлет на колодезь: воды в самовар принести; сейчас это лавку очистит от стружек и начнет всякие тары-бары про мебельное свое дело: «Выделяете мебель?» – «Выделяю, как же: и под штиль, и без штиля; коли в Москву отсылашь, так обязательно требуют штиль: есть солидные штили, доходные – потому, сами знаете, резная работа: вот хоть бы *рококо*, али *русский штиль*; а есть так только, шушера одна: тяп-ляп – готово: дешево платят нонече за такую работу, а заказывают; на едаком штиле много деньги не зашибешь: так это, обман». – Скажет и подмигнет всем лицом; ну и лицо же, мое почтенье! Не лицо – баранья обглоданная кость; и притом не лицо, а пол-лица; лицо, положим, как лицо, а только все кажется, что половина лица; одна сторона тебе хитро подмигивает, другая же все что-то высматривает, чего-то боится все; друг с дружкой разговоры ведут: одна это: «Я вот ух как!», а другая: «Ну-ка, ну-ка: что – взял?» А коли стать против носа, никакого не будет лица, а так что-то... разводы какие-то все.

Весь день проработает с отстегнутым воротом красной своей рубахи, пропотевшей на спине; уж прохлада бирюзой и сквозной, и искристой дальние заливают рощи, и все там нахму-

рится – сеется мрак, и множатся тени, – а напротив усталое солнце истекает последним лучом, – рубанки, фуганки, сверла Митрий сложит, свесит над ними тонкое мочало желтой бороды, задумчиво обопрется на пилу и потом тихохонько плетется через луг, обшлепанными лаптями, а детишки от него прочь, потому что имел нехороший тяжелый глаз; только сам он овцы не обидит; ничего себе; и всякий уж знает, куда и зачем тащится столяр в такое время: к батюшке; препираться насчет текстов; был же весьма начитан в Писании и своего мнения держался – какого, никто понять не мог, хоть с виду он не таился: вовсе недосуг было знать, что разумел под единой сущностью столяр Кудеяров и какого мнения насчет учительшиного безобразия придерживался.

Вот, бывало, утрет это он рукавом потное свое лицо, повернет это к попу половину лица: «Я вот ух как!», да и вопрошает; так вот они с попом и препираются на лужайке в тихий вечерний час, когда тонкий встает пар над лугом. Потеет поп, потеет, пока Кудеяров садит текстами, и рассердится, когда Кудеяров другой половиной лица будто невзначай на попа обернет (*Ну-ка, ну-ка: что, взял?*); и рассердится поп, вспомнит попадьихин самоварчик и отмахнется: «Поди ты, есть у меня время со всяким путаться: много вас тут, народу всякого!» А только поп это зря – просто чайку захотелось, либо в окне попадьихину белую шейку приметил: сам любил поумничать с Кудеяровым. Плюнет поп, посмотрит на столяра, а лица-то у столяра нет: так... разводы какие-то. И пойдет от него поп; и подмигнет ему вслед Кудеяров, и через весь луг в пологий потащится лог, в росную свою прохладу. И затеплятся звезды.

Что бы можно сказать про Кудеярова, про столяра? – а говорили в народе: Кудеяров будто закрывает в избе крепко-накрепко по ночам ставни (только у него да у попа были ставни), а сквозь ставни из хаты его дивный свет пылает да раздаются ропоты: одни судачили про то, что собственно молитвой молится он с рябой своей бабой; другие показывали иное: нечистые-де там творятся дела. Впрочем, говорили все это с опаской и смутно, да и сами говорившие не верили; а пустил слух глухонемой; пришел он однажды в Степанычеву лавку, рукой в сторону кудеяровской избы показывает, «*ана, ана*» свое бормочет и рожки ставит над всклокоченной головой; признаться, Степаныч не поверил, потому что знал – от глухонемого какие вести; недаром поп на исповеди глухонемого вразумлял только насчет того, что нельзя скоромным в пост питаться, для чего ладошками хвост сельди изображал да из рук капустаный кочан выде- лывал; ну и глухонемой понимал, а насчет Кудеярова он мог и завратиться.

А вот что касается бабы, – то статья иная. Чудная у него была баба: рябая; жил ли он с ней или нет – не знали; должно быть, жил; только бабу не любили сельчане, да и она держалась в стороне: глупая была баба: все на звезды смотрела; как затеплятся звезды, выйдет она на двор и все-то жалобным голосом своим распевает: не то стих духовный, не то любовную песню срамную. Часто видели ее на мостках: сидит на мостках и белья не полощет – в воду смотрит, как там теплятся звезды...

Голубь

В самый жар, когда и девки прячутся, хоть на дворе праздник, когда не мелькают их зеленые, красные, канареечные баски, а разве только из пыли порхнет в кусты воробей, только ветер качает сумными¹ соснами, жаркий ветер, и пыльные выюнки в поля провьются с дороги, – не тянулись возы на дороге, не проходил сельчанин: будто вымерло село, – такой покой, такое безлюдие, дрема такая повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков.

Только там, где к дороге бросились кучей домишки, те, что поплоше да попоганее, из чайной неслись крики и песни: испоганился придорожный народ целебеевский. Люд постепеннее крепко насупился на эту часть нашего села: супился поп, учительница, и Иван Степанов (мужик богатый), и колченогий столяр.

Пробегала дорога туда – мимо-мимо, – за село пробегала, в поля, – убегала она вверх пологого склона равнины и терялась у самого неба, потому что здесь припадало небо низко к селу (там, за границей, и будто бы за небом был славный Лихов город). И оттуда виделся корявый куст, но из села казалось, что то темная странника фигурка, бредущего на село одиноко; шли года, а странник все шел, все шел: не мог дойти он до людского жилья, все грозился издали на село.

В этот томительный час только из пологого лога, где была изба столяра, столяр вылезал на холмик и, приложивши руку к хворому своему лицу, все посматривал вдаль по дороге: не встает ли там пыль, не приближается ли странник, не несет ли Господь кого из гостей; постоит, постоит столяр, – даль ясна, все там струится. Нет никого. Опять в свое логово забирается столяр: посидит, посидит в красном углу под образами; и опять ему не терпится, и опять выйдет на холмик, а пора уже чайничать; уже стол ему накрыла босоногая Матрена, рябая баба, работница; уже белая скатерть с каймой из красных петухов, с чашками, покрытыми росписью розанов, с хлебом, яйцами, на столе; и уже дымит самовар: пора чайничать; но с кем же чайничать, как не с гостем, а гостя все нет; и опять выйдет столяр Кудеяров на холмик; далека дорога: даль ясна, и нет никого; нет, кто-то есть, кто-то, наверное, приближается к селу; то не куст – вон темненькая его фигурка; а вот рядом другая фигурка, и тоже темненькая; скоро она спустится вниз – «Ей, Матрена, гостей поджидай!» И Матрена уже суетится, шлепая от печки к столу здоровенными, белыми ногами: безбровое, рябое ее лицо, с глазами темными и алыми, с чуть дрожащими алыми губами, усмехается, будто давно она уже ждет вестей издалече; она поглядывает на столяра, а столяр сидит молча, не отвечает на взгляды глупой бабы: ждет гостя. А вот и гость.

И гость странный: нищий, известный в округе, Абрам; то появится он в наших местах; босой обходит села, усадьбы; и везде-то ему подадут: кто краюху, кто яйца, кто копеечку (это все больше господа подавали деньгами), кто просто накормит или пустит переночевать, а кто пригрозит цепным псом; а то вовсе скроется нищий: месяцами его не видать; тогда встречали его далеко за Лиховом, видывали и за Москвой: высокий, плечистый, кудластый, с темными с проседью волосами, падающими на плечи, с большим носом и узенькими раскосыми, но хитрыми глазками, он верно знал, с кого чем взять; как подойдет под окна, пропоет псалом грудным низким голосом, отбивая высокой палкой слова. Странная у него была палка: не то палка, не то дубина, не то посох. Сам – богатырь: встретишь в лесу, испугаешься: ну, как он дубиной своей хватит; но что всего страннее, так это то, что на дубине его светилось оловянное изображение птицы-голубя, ясное такое серебряное. Но как нищего знали, его нрав и его повадки знали и то, как он играл с детьми, и как при случае сторожил лес, – все знали, даже начальство, то и не побоялись бы его, в лесу повстречав: побоялись бы инородные. За Абрамом водился

¹ Грустными. – Примеч. авт.

один только грех: сживал часто он в чайной, где выменивал на закуску и чай яйца и хлеб; сживал и в городской полпивной; сидит и молчит: и все-то прислушивается: про него говорили, будто он знает подголотную всех, – и крестьян, и попов, и господ, кто куда поехал, кто что задумал, – все знает Абрам; только неведомо, почему про него это так говорили: сам-то он был молчаливый, мало с кем говорил, а когда спрашивали его о чем, отнекивался: говорил – ничего-то он не знает.

Войдя в избу, перекрестился на образа Абрам, снял кожаную сумку да белую войлочную шляпу, которую дали ему господа и которую господа называют «поганкой»; обнялись они с Кудеяровым, трижды поцеловались, отвесил Абрам Матрене низкий поклон, будто домовитой хозяйке, а та протянула ему свою руку как-то вперед заскоружеными, сжатыми пальцами; запросто распоясался и сел чайничать с Матреной и столяром, будто он и не нищий, а гость какой званый; и по тому, как угощали странника, вовсе нельзя было показать, что он нищий. Пили чай молча. Но вот уж выпиты чашки и опрокинуты, и тонко шипит самовар, выживая кого-то, – Кудеяров-столяр тонкое поднял мочало бороды и на нищего уставился той стороной лица, которая будто говорила: «Я вот ух как!» На что нищий, без слов понимавший столяра, подмигнул Матрене:

– Что знаем, то знаем: что там уж... от своих таиться!

Матрена стояла поодаль в красной баске, подперев рукой бледное свое лицо; только дрогнули ее губы да загадочно как-то сверкнули глаза. Она приложила палец к губам, и явственно у губ палец согнулся трижды; губы ее забормотали; и глаза опять так дивно сверкнули. Тогда столяр, сидевший в красном углу, уставился на нищего уже всем лицом, и все лицо выражало так что-то – разводы какие-то, между тем как рука его явственно простучала трижды и зачертила кресты по скатерти.

Низко склонил голову нищий, как бы в согласии с тем, что видел, и скорей прошептал, чем проговорил: «В виде холубине...»

И все головы ниже еще склонили: и помолчали. Потом столяр явственно произнес:

– Видим, что и ты, друг, наш; что видел ты и что ты слышал, что народ баит...

– Поготорим, охотно, – подмигнул нищий и потащился рукой за пазуху; скоро он вынул грязный листок вчетверо сложенной бумаги, развернул и стал читать: – «От женки смиренной отцу и учителю нашему, Митрию. Кланяются тебе братии наши и сестры; не оставляй ты нас, отец и благодетель, молитвами. А еще посылаем тебе, отцу, брата нашего, Абрама, сына Иванова, по прозвищу Верный Столб. А еще просим тебя, милостивец ты наш, верить сему брату во всем; как нам, верным твоим вдовам и женам верил, так и ему, Столбу твоему, верь. А еще кланяется тебе Аннушка Голубятня, Елена, Фрол, Карп да Иван Огонь. А мой идол благоверный доселе еще ничего не знает; а травушкой, посланной тобой, пользую его отменно; а для чего – сам, батюшка, знаешь; молимся Святу Духу Господу в новой молельне, тоись, в помещении банном в те дни, как мой благоверный отлучается по уезду. Голубинин же лик живописец пишет из братий наших. А еще не оставь ты, милостивец, нас честными молитвами твоими. А еще духине твоей, – продолжал нищий, кланяясь Матрене, – низкий мой поклон. Верная твоя раба, душенька твоя голубиная, Фекла Еропегина...»

– То-то и оно, брат Абрам, – прервал молчание Кудеяров, – сам-то, значит, не в городе нонече...

– Какое там: все по делам, все от мельницы к мельнице переезжает; Фекла наша Матвеевна все одна да одна, – подмигнул нищий, – тоись, все она с братьями, с сестрами; травки вот мало выходит, некогда и пользоваться ей.

– Ну, будет время...

Это они говорили о Фекле Матвеевне Еропегинной, жене богатейшего лиховского мукомола, в некое тайное перешедшей согласие. Говорили о том, что уже верная братия объявилась в окрестных селах, что уже молятся нынче кружками здесь и там, и об этом никто так-таки и не

подозревает; не то, что прежде, когда на уезд два всего прихода братии и сестер приходилось; и один приход собирался в доме Феклы Матвеевны потаенно при помощи Аннушки да матери, старицы столетней, бышей крестьянки из Воронья. Из дальнейшего разговора выяснилось, что Митрий Мироныч Кудеяров всему делу святому – голова тайный: вместе они с бабой рябой, Матреной, недаром, знать, из году в год запирались на ночь да чудные распевали молитвы потаенно; знать, Господь их благословил за святое дело встать с новой верой, голубиной, тоись, духовной, почему и называлось согласие ихнее согласием Голубя. В чем заключалось само согласие, из разговора нельзя было понять никак: ясно было одно, что братия надеется на некие таинства; раскрытия их ожидал Кудеяров, но не хватало только человека такого, который мог бы приять на себя смелость свершения таинств сих, без чего Кудеяров с Матреной не могли опираться на таинства, ведомые им одним перед братьями, так что от братий своих приходилось до срока им таиться; братия слышала только, что есть среди них святые люди, до времени пребывающие в молчании, чтобы выступить на брань с врагом человеческого рода в дни, когда братоубийственная на Руси начиналась смута; кто такой в действительности Кудеяров, знавали немногие избранные и между ними – Фекла Матвеевна Еропегина. Нищий Абрам был языком всех вестей среди братии согласия Голубя, он-то и разносил вести; но и Абрам до последнего времени головы согласия не видал и только теперь, впервые, открыли ему глаза на Митрия.

– Ну, что ж, человека нашли? – шепотом наклонился Абрам к Кудеярову.

– Нишкни, – побледнел тот, – нонече и стены имеют уши, – и оглянулся, встал, вышел за дверь, убедившись, что у избы никого нет, плотнее притворил дверь и показал на Матрену глазами: – У нея спроси, она у меня – духиня: она и человека приискиват, да, кажись, приискала: только клонет ли? – как-то зло рассмеялся столяр. – Со мной-то не хочет: я стар для нее...

И когда нищий хотел посмотреть на Матрену, уже ее не было: закрасневшись, убежала она вон: она стояла, вся красная, с порозовевшим, угрюмым лицом, на холме и грызла полевою тростинку, и упорная на ее лице запечатлелась дума.

Еще поговорили немного столяр и нищий и попрощались; нищий взял посох, опоясался сумкой и пошел себе, босыми подымая ногами пыль. Скоро посох его застучал под окнами изб; то здесь, то там поблескивала в жаре оловянная птица-голубь, раздавались в зное слова Божиих псалмов.

Все было тихо.

Только там, где к дороге бросились кучей домишки, – те, что поплоче да попоганее, из чайной неслись и крики, и песни; а то будто вымерло село – такой покой, такая дрема повисли в солнечном блеске и треске кузнечиков.

Невозвратное время

Солнце стояло уже высоко; и уже склонялось солнце; и был зной; и злой был день; и днем тускло вспотело тусклое солнце, а все же светило, но казалось, что душит, что кружит голову, в нос забирается гарью, простертою не то от изб, не то от земли, перегорелой, сухой: – был день, и злой; и был зной, когда судорожно сжимается сухая гортань: пьешь воду в невыразимом волнении, во всем ища толк, а томная, тусклая пелена томно и тускло топит окрестность, а окрестность – вот эта овца и вон та глупая баба – без всякого толка воссядут в душе, и, дикий, уже не ищешь смысла, но ворочаешь глазами, вздыхаешь. А злые мухи? Вздохом глотаешь злую муху: звенят в нос, в уши, в глаза злые мухи! Убьешь одну, воздух бросит их сотнями; в мушиных роях томно тускнет сама тоска...

Солнце стояло уже высоко, и уже оно клонилось, и свет нагло влетал сквозь кисейные занавески поповского домика, так что каждая обозначилась пылинка и обозначилась каждая зазубринка на белом дощатом полу, и каждое пятнышко обозначилось на обоях, испещренных букетиками аляповатых роз вперемежку с васильками, а неприбранный стол с пятнами вина, с крошками капусты да растрепанной головой Александра Николаевича, дьячка, павшего на скатерть и нахлеставшегося рябиновки, черной ратью облепили мухи; они собирались многоногими стаями вокруг винных пятен и многоногими ползали стаями по лицу хмельного дьячка, а поп (он только что пред иконою Царицы Небесной дал зарок вовсе не напиваться и потому был еще трезв), с обтекавшим от жару и от все же пропущенных рюмок лицом, взлетом костлявой руки давил в кулаке черные, ползающие стаи и бросал их с остервененьем в обжигающий кипяток. «Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь», – потоплял он мух, и в кипятке мухи барахтались лапками, но к винному пятну переползали, слетались новые стаи, и поп опять их ловил, потоплял и душил; и слетались новые стаи, и, казалось, была вся набита комната роem черным, гудящим; и казалось, густо в ней становилось от многих колючих жал, от многих звенящих голосов, а там, за тонкой перегородкой, была небольшая комната об одно окно с двумя убогими креслами в чехлах и с таким же диваном, посреди которого торчала сломанная пружина, так что неопытный гость мог вонзиться в нее; пол в этой комнате был выкрашен краской и вымыт квасом, и нога прилипла к полу, отчего попадя в этой комнате здесь и там протянула узенький холст; комнату украшали: желтого цвета ломберный столик с вязаной скатертью и только для вида приставленной четвертой ножкой, плетеная корзинка с остатками когда-то пышной пальмы в виде сохнувшего листа, покрытого травяной вошью, приложение к «Ниве» в виде цыганки с бубном, повешенное на стене, да портрет Скобелева, засиженный мухами и проткнутый палкой; но всего более украшало комнату старенькое пьянино. Здесь было царство попады; здесь сживала она в кои веки одна у окна с вязаньем; здесь в кои веки забывала она и попа, и попят; здесь вспыхивали в ней остатки какого-то чувства, еще не вовсе убитого ссорами с кухаркой, сплетнями и утираньем носов и еще кой-чего у золотушных ребят; здесь иногда садилась она за инструмент либо за гитару и наигрывала любимый свой вальс «Невозвратное время», не замечая, что половина клавишей жалко дребезжала или не издавала звуков. Вот и сейчас: хило, будто в последней степени чахотки, жалко задрезжал вальс «Невозвратное время», и потекли звуки, и всплакнул спяна Александр Николаевич, дьячок, и пятерня попа, полная мухами, замерла в воздухе, упала, разжалась, когда жалко задрезжало невозвратное время из-за тонкой перегородки; невозвратное свое время вспомнил и поп, как ежился он семинаристом весной в Воронье, где среди розовых вишен цветущих розовело личико поповны, еще не дебелий, бранчливой и непристойной бабы, а нежной девушки; и как порван-ная струна дребезжало оно, невозвратное время, в душе дьячковской, когда дьячок на хилые звуки свою подымал голову, вовсе невпопад пытаясь подтянуть и запевая: «Даа-гаа-раай, ма-

я лучина... Даа-гаа-рюю с тобою я»... И тотчас в нем догорала лучина прошлого, и голова дьячка опять валилась в ползающие рои мух.

Задумался и Дарьяльский; тут же, в сторонке, он еще все у попа сидел и курил, в то время как быть бы ему в Гуголеве, где уж хватились небось его, где простыл уж обед, и Катя, из зеленых акаций сада, где смотрела на пыльную и тусклую дорогу, язвительно улыбающуюся ей из зеленой ржи и убегающую к Целебееву; и где, опираясь на костыль, тряслась в цветнике кружевная бабинька, в черном вся шелку и в белом тюлевом чепце с лиловыми лентами; тряслась и поварчивала в настурциях. Почему же и Дарьяльского охватило невозвратное время, почему же и он вспомнил свою жизнь? Мало прожито, много пережито, – и пережито столько, что хватило бы на добрый десяток жизней; помнит Дарьяльский своего отца, чиновника казенной палаты, человека простого и честного; бился тот, бился, как рыба об лед, чтобы дать сыну надлежащее образование; его отдали в учебное заведение, и ходить бы ему в учебное заведение, ан нет: он ходил в библиотеки и музеи, да над книгами днями просиживал он, а потом, после месячной отлучки из гимназии, как вымаливал он у матери, чтобы та, тайно от отца, писала ему извещения начальству о будто бы им перенесенной болезни; как уже с детства он объявил отцу, что и в Бога не верит, в доказательство чего вынес из своей каморки образ и шваркнул в угол; как печалились и отец, и мать, а он, юный нехрист, молился красным он зорям и невесть чему, снисходящему в душу с зарей; писал стихи, читал Конта и поклонялся он, юный нехрист, красному знамени, перенося на сей вещественный знак тайную свою, дорогую, никем не узнанную тайну о том, что будущее будет. Невозвратное время!

И умер отец, и умерла мать; он – студент; он – первый среди товарищей – в их кружках, спорах с начальством, увлекающий, не увлеченный; погруженный в толстые фолианты, изучающий Беме, Экхарта, Сведенборга так же, как изучал он Маркса, Лассалья и Конта, ища тайну своей зари и не находя ее нигде, нигде; и вот уже он одичал и уже не увлекал никого; вот он странник, один среди полей со странными своими, не приведенными к единству мыслями, но всегда с зарей, с алыми ее переливами, с жаркими, жадными ее поцелуями; и заря сулит какую-то ему близость, какое-то к нему приближение тайны; и уже он – вот в храме; он уже во святых местах, в Дивееве, в Оптине и одновременно в языческой старине с Тибуллом и Флакком, и слов-то уж более нет к выражению мыслей; и сам-то он на взгляд одичал, опростел, огрубел, – а чувства все жарче, и все тоньше думы, все больше их, больше, и от полноты разрывается душа; просит ласки она и любви; и – подошла милая Катя, ясная – полюбила: подошла, любит. Но почему же вздохнул Дарьяльский? «Невозвратное время»... Ведь время это – не более как вчерашний день; еще он думал вчера – тайна его раскрывается в Кате, в ее любви и ее поцелуях: новый она его путь и столб нерушимый истинной жизни. Но почему же и это вчера – время уже невозвратное: от того ли, что тайный взгляд рябой бабы исполнил неистовством его душу? Рябая баба: не любовь в ее взоре, а жадность какая-то; полно: и не жадность, и не любовь, не любовь только: не только любви и надо ему; чего же надо ему, если в любви – путь, если в ней утверждение истины?.. О мухи, жадные, злые, не жужжите, не жальте, не забирайтесь в рот!.. О, плаксивые звуки: жалкие, не дребезжите вы больше!.. Прочь, поп, и ты: сам утопай ты в мушиных роях!..

Простился с попом и вышел; и тусклое тускнело солнце и гремело светом и тысячами насекомых с луга; уже оно склонялось, а вслед Дарьяльскому неслись дребезжащие звуки; они разбивали пруд на тысячи блестков: блестки-всплески, будто серебряные голуби – в воде ли, в небе ли – пропорхнули, когда ветерок пруд тронул рябью, прошумел аер зеленый. Впереди из пологого лога потянуло дымком: там промелькнула красная баска, там промелькнул платок с белыми яблоками; промелькнули, – скрылись в пологом логе, у избы Митрия Мироновича, столяра. Вздрыгнул Дарьяльский.

Пошел он от церкви прочь и не помнит, как принесли его ноги к голому камню, торчащему над прудом; чудно его укачали студеные всплески воды: усыплен, и уже в струях слы-

шится ему нянино «баю-бай», и все уже обернулось на него странно и смутно здесь, среди бела дня; и взорами ищет прохожего сельчанина, и не проходит здесь сельчанин; провевается ветер и качает кустами; качает мысль – и уже усыплен.

Слушай – струй лепет и ток стрижей: смутно стрижи зовут над колокольной, что золотым своим резным крестом поднялась над селом; выются стрижи над ней. Черные стрижи над крестом день, утро, вечер в волне воздушной купаются, юлят, шныряют здесь и там, взвиваются, падают, режут небо: и режут, жгут они воздух, скребут, сверлят жгучим визгом воздух, навек выжигая душу неуютным желаньем; и только к ночи угомонятся; и не вовсе: и ночью, в час смиренного упокоения, когда вдали гамкают псы да перекликается петух, под колокольной что-то взвизгнет: хорошо знают во всей округе целебеевских стрижей. Но стрижей, друг, не слушай и на них не засматривайся: разорвут тебе сердце и точно в грудь воткнут раскаленное сверло, – захочется тебе бегать, росянистые отрясать кусты, в росянистые падать травы, прижимая к груди эти травы. Пропадешь за медный грош: иссохнешь.

Ишь как юлят, стригут крыльями воздух – облепили крест.

Смотрит Дарьяльский на крест, на колокольную: за колокольной – кусточки, овражек; за овражком – кусточки; дальше – больше: смотришь, а уж шепотный лес проливает свою дрему, а в лесу курлыкает глупая птица; жалобно так курлыкает.

Чего ей надо?

Так он весь день проваландался по селу, бродя вдоль луга и в пологий заглядывая лог (где изба Кудярова-столяра).

И уже прошли к пруду сельские девки с песнями хоровыми; поскидали алые свои юбки да баски и белыми телами дружно кинулись в пруд; то-то было фырканья! Долго по берегу гонялись они друг за другом, – и как есть без рубашек, полные, белые. И уже прошли прочь от пруда сельские девки с песнями хоровыми. Также приходили мужики, скидывали портки да рубахи и загорелыми телами дружно кидались в пруд; и еще больше было криков, еще больше фырканья. Как без песен пришли, так и ушли без песен. И никого на пруде; только в аере свежем чернеется рыболов.

И уже прошла на мостки баба рябая с песней тихой, с песней жалобной; не скидывала алые она свои одежды: посиживала на мостках, полощась спущенными в воде ногами; рыжие свои косы расчесывала над водой. И когда мимо нее прошел Дарьяльский, только дрогнули ее губы да загадочно как-то сверкнули глаза – у, как они загорелись! Обернулся; – обернулась и она: у, как ее опять уставились на него глаза! Подошел, но уже пошла прочь от пруда баба рябая с тихой песней, с песней жалобной. И затеплилась первая звездочка, и робкая из пологого лога выглядывала хата двумя в сырости желтыми огнями.

Вился, и веял над селом, и отрадно целовал кустики, травку, обувь чистый вечер летними слезинками, когда дневное, не голубое вовсе и не серое небо затвердело синевой в то время, когда запад разъял свою пасть и туда утекал дневной пламень и дым; оттуда бросил воздух красные свои, будто ковровые, платы зари и покрыл ими косяки и бревна изб, ангелочки резные, кусточки, унижал крест колокольный огромной цены рубинами, а жестяной петушок, казалось, был вырезан в вечере задорным, малиновым крылом; кусок красного коврового воздуха ударил в поповский смородинник, как раз угодив в отца Вукола; сидел на березовом пне в своем белом подряснике поп и в соломенной шляпе; краснел, покуривал пенковую трубочку, и казался таким маленьким на заре.

Ковровый воздух перерезал дорогу красным полотнищем, убегая туда, где толпились избенки помельче да поплоче, и зачем-то орались там песни, и зачем-то в клочки рвала воздух заправская гармоника в клубах пыли, и почему-то подтенькивал ей откуда-то взявшийся треугольник, в то время как восток темный источал ток, и туда – в темного тока течение – уводила дорога; в синюю муть синей ночи кто-то оттуда надвигался на деревню, темненькая все шла фигурка, но казалось, что она далеко, далеко и никогда ей не достигнуть нашего села.

В чайной

– Да ты сообрази, дубовое твое рыло, – сообрази ты: кто над землей трудится? Мужик – я, чай! Мужик и земля, тоись, в полное апчественное обладание. Акрамя земли, никакой такой слабоды нам не надать; одно стеснительство, слабод а ета. На што слабод а нам?..

– Забастовщики вы бердичевские!.. – кочевряжился паршивого вида мужичонка.

– Чего буркулы на меня, харя, выпятил? В борьбе обретешь ты право свое! – харкнул на пол рабочих с Прохоровской мануфактуры, молодой парень с проваливающимся носом.

В стороне раздавался громкий гнусавый тенорок:

– Бысть ветер буйный, и занесе меня в кобак; и рекл ми целовальник: «Человече, чего хочещи?» И отвещал ему: «Зелья водошнаго». И сложил той своя пять персты воедино; и бия меня по зубам. И, биен, изыдох...»

– А вы видели ль, робята, ефту самую еху лесную? – обращался лупоглазый, распаренный от жару целебеевский парень к двум ротозеям, тянувшим чай с блюдечка.

Но все покрывала скрипом огромная гармоника, на которой играл парень в шелковой синей сорочке, в набок надетом картузе, с вызывающей харей, застывшей, а пьяные голоса развалившихся вокруг него парней тихонько подпевали: «Трааа-нсвааль, Тра-а-нсвааль, страа-на маа-яя... Тыы всяя-аа ваа-гнее-ее гаа-риишь»...

Чайная была наполнена гостями из окрестных деревень; пар валил столбом; в чайниках, здесь и там, разносили водку; некоторые лопали вонючие сосиски руками прямо с блюдечка.

В одном углу рабочий с подгнившим носом и хриплым голосом уже защищался от належавшего на него паршивого мужичонки; рядом за столиком проезжий лиховский обыватель, выгнанный из семинарии семинарист, пощипывал козлиную бороденку и распевал на манер дьячка, а в другом углу говорили парни про «еху лесную».

– Ну, ну, чего лезешь! Уже и драться сейчас: за вас же, чертовых детей, на огонь лезем; никакого понятия не имеет: ей, братцы, он мне голову едак проломит!

– И шед, возопих: извощиче, извощиче: кую мзду возмещи довести мя до храмины? И отвещал: «Денарий, еже есть глаголемый «двугривенный», и возседох на колеснице, и возбрыкался кобыла; и понесе...»

– Ходили, паря, чрез Кобылью Лужу, да и вызвали иетту «еху»; «Черт», а она нам: «Черт». – «Выходи!», а она из кустиков, значит, в белом вся, а мы врассыпную. – А гармоника хрипела, и голоса гудели: «Маальчишка наа-аа паа-зиц-цию пе-шкоо-оом паа-трон прии-неес».

Говорили о том, что японец мутит народ, что близ Лихова проживают шпионы; говорили и то, что железнодорожные рабочие прошлись по полотну с красным «флакам» и что вел их генерал Скобелев, доселе таившийся от всех, а нынче объявившийся народу; что ведьма из деревни Кобылья Лужа отдала черту душу, а перед смертью силушку свою искала кому передать: не нашла, так в тростинку изошла ее сила; по рукам ходили писульки весьма лукавого сорта, чтобы не вставал народ на работу помещикам; читали, качали головами: соблазнительное содержание; но улыбались...

В стороне, молча, сидел нищий Абрам, и оловянный голубь мутно тускнел у него на палке; временами лиховский обыватель подходил к нему и, о чем-то пошептавшись, возвращался к месту, продолжая нараспев выкрикивать свой вздор:

– И возопих гласом велием: «Извощиче, извощиче! Укроти клячу сию!» И бысть велий глас: «Тпру, чертова дочь!» И остановишася кони, яко вкопанный...» Ей ты, слабод а! – бросил он вдруг только что побитому рабочему, уже совершенно пьяному. – Так-то оно так: хорошо это у вас писано, только есть ли у вас свой сицилистический бог?..

– Пррре-доставим небо ворробьям... и водрузим... кррасное знамя... – бормотал тот, совершенно пьяный, – пррро-ли-таррри-ата...

– Ой ли, а не красный ли гроб? – вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята дивиться «ехе лесной», и все головы обратились в одну сторону; но как же сверкали глаза лиховского мещанина: – Слушайте, православные, царство Зверя приходит, и только огнем Духовным попадим Зверь сей; братия, будет ходить меж нами красная смерть, и одно спасение – огонь Духов, царство голубиное преуготавливающий нам... – Долго еще говорил лиховский обыватель и скрылся.

Дивились сельчане дивным речам; и уже одни расходились, другие давно разошлись, а иные, нализавшись казенки прямо из чайника, лежали под лавками, и между ними рабочий с подгнившим носом.

Ясная, чистая, тихая, свежая ночь. Вдали гамкает пес да заливается стучушка; вдали парни заливаются песней, возвращаясь домой: «За праа-вдуу Боо-оог паа-мии-луе... За криии-ии-вдуу да-аа-суу-диит...»

Тарарыкает тележка; лиховский обыватель куда-то везет Абрама, нищего: «Ну что, человечка нашли?...» – «Наметили...» – «Кто да кто?» – «Так, лодырь из господ, только все же из наших...» – «Клюет?» – «Клюнет...» Ясная, чистая, тихая, свежая ночь...

Глава вторая. Город Лихов

Дорога

Пересекала дорога лесочки, кустики, кочки; пересекала пологие склоны равнин и с разбега на вас нападающий ветер; пересекала зеленый овес, едва изливающий шепот; и ручьи, и овражки – пересекала дорога, убегая – туда: дымная оттуда протянулась власяница и запахла все как есть небо; и оттуда сеялся дождь на лесочки, на кочки, на пологие склоны равнин; и в небо оттуда протягивал храм свой серебряный шпиг, из тумана, хотя и казалось, что верст на десять нет никакого села; а дорога издали огибала храм, и таилось село промеж двух пологих горбов, покрытых по ржи пробегающей рябью. Если бы взлезть на придорожную иву, уцелевшую Бог весть как (в стародавние времена дороги у нас были обсажены большущими ивами), можно бы разглядеть и село, потому что рукой до села подать, коли встать подле ивы; в день же, дождливый и серый, бедные, серые избы так сиротливо припали к бедной и серой земле, что было сквозь дождь различить их никак невозможно. Горб земляной обрывался над верхом: верх тут как раз перерезал равнину; верх тут как раз на две разорвал стороны село, и оно слетело огородами к подовражному ключу: ключ назывался – *Серебряный Ключ*, а верх – в старину называли сельчане *Мертвым Верхом*; не менее как на версту протянулся тот верх, переходя в верх песчаный, пересекая иные многие верхи, обрываясь иными оврагами; все полз да полз верх, по весне съедая много десятков сажень пашни; тут вот и пошаливали в старину, посередь дороги от Целебеева к Лихову; а село, что под верхом, называлось – *Грачиха*; бедное село: не то что Целебеево; и не железом домишки здесь крыли – соломой; своя тут жизнь, иная, не целебеевская, и мужики, и бабы здесь иные, и однодворцев здесь нет, а мешчане так перевелись все: село занимали два только рода – Фокины да Алехины; столько их расплодилось в Грачихе, что прочие взяли да и перемерли – вывелись, можно сказать; Фокины были, что называется, дылды: дылда к дылде – да и на руку Фокины были не чисты и попивали тоже; Алехины не Фокины: пили меньше и на руку были хотя и не вовсе чисты, но все же чище Фокиных; да вот только, почитай, дурная болезнь промеж них завелась; а, впрочем, жили Алехины, как люди живут; и попик был свой тут, и все тут свое было, особое.

Многое можно бы рассказать про село, да так оно как-то зря рассказывать, потому что дорога на Лихов шла, минуя село: не скажи проезжему, что, дескать, село тут поблизости – село: проезжий минует верх, так-таки ничего не заметив, – усом не поведет проезжий: никакого ему дела до Алехиных нет, ни до попаика. Только серебряный шпиг протянется над равниной в тумане промеж двух пологих горбов; протянется – и нет его; как протянулся, так и пропал: в тумане.

Где обрывалась дорога к Мертвому Верху глыбами желтого лесса и где из тумана уже едва-едва мутнел темный шпиг, по дождем размытой дороге спускался столяр Кудеяров; он шел в заново сшитом зипуне, но на босу ногу; прилипчивая грязь и хлюпала, и чмокала у него между пальцев, будто гороховый кисель, замешенный на настое из овса, или как свиное месиво; сапоги же столяр снял да повесил на палке, перекинутой через плечо (новые сапоги были); там еще болтался дорожный его узелок. Долго столяр пробирался меж кусточков; шел меж кочек, лесочков; задумывался у полян; он тащился к Лихову-городу; изморось дышала на него своей пылью: вокруг изморось крутилась – все пространство от Лихова до Целебеева, казалось, плясало в слезливом ветре; кустики всхлипывали, плясали; докучные стебли плясали тоже; плясала рожь; а шустрая, легкая рябь суетливо ерзала на поверхности холодных, спокойных, коричневых луж. И тащился столяр через лужи, кусты, сквозь усатую рожь, а его хворое, жалобное лицо хворо и жалобно свесилось над дорогой, как у дятла, носом; картуз же закрыл

глаза, отчего слепое стало лицо: видел, не видел ли он, что творилось окрест? А окрест – мразь да грязь: плясал дождик, на лужах лопались пузыри – ничего себе: столяр месил грязь.

Смотрит столяр – а уж в Мертвом в Верхе его поджидает Абрам; рыжий перекинул ранец за плечи, в дождик поганку над кудластой своей головой заломил – нищий сидит-посидит на камне, посвистит в ветер: столяра поджидает; нищему дождь нипочем: день Духов – на сердце спокойно; а там – сейся, дождь, окрестность – росой обливайся, и вы, туманы, клубитесь – клопочите дождями, вы! Где-где сердце обрящет упокоение, коли упокоения ему не будет и в Духов день? Густо гудит в ветер Абрам, ударяя по луже палкой: «Девицы-красавицы, светел теремок; гостя ждите, пейте пиво да медок. Путничек желанный недалек...» Вода стекает с оловянного голубинина клюва... Кругом раскричались мокрые грачи...

Смотрит нищий, Абрам, – показался столяр и спускается с верха: нос поднял Митрий – под верхом поджидает его подорожный: вместе идти им в Лихов – одна дорога, одна забота, одно дело, одна жизнь – и вечная бесконечная жизнь; улыбнулись друг другу; как повстречались, так и пошли; вверх пошли; а и крут Мертвый Верх и склизок: упадешь – перемажешься грязью: ничего – Божье все: небо, земля, звезды далекие, тучи, люди – и грязь; и она – Божья. Не как иные какие, чей норы открыт всем, чьи поступки ничем не запятнаны, просто и открыто совершают свои дела: но как черные воры, как волки, пробираются оба по окольным тропам вот уж сколько дней, недель, месяцев, чтобы никто не видел, как соединили пути свои они, вот и нынче тайком вышли оба из-под крова людского: из Грачихи оврагом шел нищий; и целый крюк дал столяр, чтобы злое соседское око не рассмотрело, по какой дороге в путь он пустился.

– Што, друг, измок, сидючи! Долго ждал – заждался?

– Ничего, Митрий Мироныч, ента не значит; небось и табе приключилось идти маненько кривенько; небось с кочетом встал?..

– Для духовного дела дашь и не такого крюку; пройти очень даже приятно по местности земли, – потянул носом Митрий, выбираясь из оврага, откуда опять раскидались пространства – раскидались на много десятков верст; повел носом, дозируя вокруг; и будто от этого взора озлился ветер; еще пуше забил по овсам да по лужам озлившийся ветер; бешеной дождливая заметалась мразь; упали тучи, и опрокинулся кустик; опрокинулся другой, опрокинулся третий: пошло мелколесье; заёрзала по нему дорога; и опять пространства; и опять прободал там спиц в свинцовую мглу; прободал и пропал.

Нищий идет, – постукивает посохом; хорошо ходить так; идешь и не знаешь, что осталось у тебя за плечами; идешь и не знаешь, что ждет впереди: за плечами – куча избенок; и впереди – куча избенок; за плечами – города, реки, губернии, и море холодное, и Соловки; впереди – те же города, и те же реки, и Киев-город; сидел там в избе, меж четырех стен (коли переночевать пустили тебя), между лавок, бабы, ребят, кур, прусаков и клопов; сидел и таился либо клянчил под окнами; как сидел, так и будешь сидеть, по мужицкой милости, – и та же заерзает баба: и облепят те же ребята, клопы. А вот тут ни ребят, ни клопов, – дух холодный и вольный на тебя дышит; дышит он где хочет, откуда приходит, куда уходит, не ведают люди; только в полях надышишься духом, и, как дух, пойдешь куда хочешь; и уже ничего не будет: ты пойдешь по морям, по земле подсолнечной – в мир ты уйдешь: сиречь духовным станешь; оттого духовно дело и есть странствие, то есть безделье святое: шатайся в полях; кабы все шатались – одним надышались бы духом, одною душою бы стали: дух же един ризою своею землю одел. Только, видно, не так оно: от одного полевого дыхания таинств не получалось; знает, видно, столяр Кудеяров, тайны какие нужны для преображения братий: нужен подвиг духовный, дерзновение нужно великое; не прежде люди возвеселятся, и звери, и всякая птица небесная возвеселится не прежде, как самый тот дух человеческий лик приемлет.

Тут Абрам покосился на столяра: хворый вот – и нос, как у дятла, и все кашляет, а – тайны знает, все как есть столяру открыто: судьбы человеков, и то, почему восстает народ, и то, отчего в брюхе *чимирь* от рожденья заводится.

И Абрам заглянул в лицо столяру, загудел, сгибая персты у губ трижды: «В виде холубине...» Всякие речи духовные так начинались промеж братьев согласия...

– В виде холубине, – повторил Абрам. – Мы так полагаем, што холубинину лику, отец, сподобится всякий, ежели бросит он имущество, малую бросит землю, бросит бабу свою и пойдет бродить по Рассеюшке, воздухом надышится вольным: духовные стихи али моления, можно сказать, што плод духовный, индо дыхание уст, воздух приавших; и то есть таинство, которо люд прочь с места родного гонит; а тут землю-то нашу обставили, матушку, рогатками да проволокой обложили: сиди, мол, с своим тряпьем – нет раздолья тебе; сопсвенность, значит, тебе – твоя, а моя – мне; нешта сопственностью проживешь? Мое – тряпье, грязь, тоись; и сопсвенности, стало быть, нет никакой такой; с твоего богатства брюхо вырастишь, шутики за брюхо ухватятся – в тартары тарараровые тарарыкнешь: брюхом в землю войдешь; над тобой набузыкают землицы – лежи, загнивай; так, мы полагаем? Народу-то невтерпеж заживо гнить; забастовками нонече народ себя на воздушное, можно сказать, питание сажает; посидят, посидят – а и пойдут с *флаккам* бродить; и таинства тут пойдут новые, и моления...

– Ну, это ты, брат Абрам, зря: хош Столб ты и Верный, д'язычок твой неверный; сердце – золото, д'язычок – медный пяточок, – уставился на него столяр, и подмигнул лицом, и дернул носом.

– Ну, так мы, етта... Так оно, как-то того: мы – што: тебе знать: ты – голова. Мы, етта, можно сказать, тово – не тово, опчее прочее такое, и все как есть, – растерялся нищий, запыхтел в бороду и как-то конфузливо причмокнул в грязь босою ногой. (Верный был Столб, стих распевал хорошо, хитрости хоть отбавляй, а насчет судеб и тайн был по сравнению с иными братьями простак простаком: как-то все у него не того – не мог обмозговать никак, что и как: оттого и с сицилистами знался, и со штундой тарабарил, и к бегунам летось ходил, а все же чтобы кого из своих предать – на этот счет можно было на Абрама вполне положиться; Столб столбом, и язык под замок вовремя прятал.)

– А какой у нас день нонече? – спрашивал его Митрий, еще ниже надвинув картуз, так что из-под зипуна торчал кончик лишь носа да бороденка, а то будто и нет человека: зипун – на зипуне картуз, а из картуза – нос: так шел столяр, сгибаясь все ниже под хлеставшей изморосью. – День-то каков у нас?

– Духов...

– То-то што Духов.

– А куда идем-то: смекай...

– На карап, в странсвие.

– Смекай-ка: а к кому идем?

– К Ивану, к Огню да к Аннушке Голубятне...

– То-то, к Огню, а Огонь-то чей?

– Духов.

– А голуби чьи?

– Божьи.

– То-то вот: ты и смекай: в сопсвенность свою идем, во владения наши, в церковь нашу – и в том тайна есть. Духовный наш путь в обитель некую обращается: што воздух – дхнул, и нет его, воздуху; а вот как духовных дел святость во плотское естество претворятся, то, милый, и есть тайна. Естество наше – дух и есть; а сопсвенность ни от кого, как от Духа Свята... Естество што коряга: обстругаешь ты корягу; здесь рубанком, там фуганком – тяп, ляп, вот те и карап.

– Вот тоже мебель, – с запинкой продолжал столяр, и лицо его скроилось в строгую озабоченность выразить что-то, даже стало унылым, жалким, разводами какими-то все пошло. – То-то-то-то же имме... (столяр начинал заикаться, когда словом хотел приоткрыть чувства, его волновавшие; надо полагать, что от хворости заикался столяр).

– И ммме... мебель! – выпалил он, словно разорвавшийся снаряд, и из бледного стал просто свеклой какой-то, даже в пот бросило. – Аа... ана т-т-т-тооо-же, – и приподнял палец, – вааажное, брат, дело... Ты не смотри, што я ммме-ме-ме-бель поставляю; со смыслом, с ммолитвой, брат, с молитвой (уже он овладел своей мыслью) строгашь, етта, песни такие себе распевашь – вот тоже – мебель: куда пойдет? По людям: ты с молитвой ее, а она тебе сослужит службу: вот тоже, купчик какой али барин на нее сядет, позадуматся над правдой; так помогают молитва... Вот тоже и мебель... – но он ничего не выразил и опять ушел весь лицом: остался картуз, да зипун, да босы ноги, хлюпающие по грязи...

– Строить, брат, надо, строгать – дом Божий обстругивать; вот тоже: тут, брат, и мебель, и баба, и все: воскресение мертвых, брат, – в памяти, в духе перво-наперво будет: придут с нами покойнички полдничать, друг; так-то вот: особенно ежели сопсвенность их, покойничков, – тряпицу ли али патрет едак на столик поставить, да духом, духом их, духом – вот тоже. Чрез то воплощение, можно сказать, духа нашего в человеке; как мы, человеком родится; а ты – про воздух: што воздух – дхнул: нет его, воздуху... Вот тоже... А мебель, оставь мебель... И мебель тоже, – тооо-же! – растянул он.

Тихо лицо его выползло из зипуна, вовсе какое-то стало оно иное: так себе, белым оно, светлым стало: не бледным, не красным – стал столяр белым. А изморось хлестала – пуще да пуще; а суетливо неслись дымные клоки с горизонта до горизонта: не было рати их ни конца, ни начала; пофыркивал с непогодой весело кустик, над дуплом своим опрокидывал ветвь; шеле-стела трава, когда и дождя не было; дождь и был и не был: здесь был, а там не было дождя: но были пространства; и в пространствах скрывались, таились и вновь открывались пространства; и каждая точка вдали, как подходили к ней путники, становилась пространством; а Русь была – многое множество этих пространств, с десятками тысяч Грачих, с миллионами Фокиных да Алехиных, с попиками да грачами; возвышался Лихов, только здесь или там в ночь помаргивая керосиновым фонарем. И к Лихову подходили путники, к Лихову, а Лихова не было и помина на горизонте, и сказать нельзя было, где – Лихов; а он – был. Или и вовсе никакого Лихова не было, а так все только казалось, и при том пустое такое, как вот лопух или репейник: ты погляди, вот – поле, и где-где в нем затерянная сухая ветла; а пройди в туман – погляди: и ты скажешь, что по полю-то человек злой за тобою погнался; вот – ракета: мимо пройди – погляди, и зызыкнет она на тебя.

– Так и враг человеческий – и он вот тоже, – продолжал столяр, – обмозгуй же ты, друг, што на каждый вещественный знак, одно слово, на плоцкое бытие – дхнет враг: и ее нет, плоцкой жизни, нет: духом прикинется враг – вот тоже: а ты (обмозгуй же ты, брат) ничего себе, плоцкую тварь зараждай; от сего и дух человекий лик примет, – от бабы, как есть, дитенышем зародится: дух духу, Абрамушка, рознь: то – дух, а то – враг; да и мы понимаем, што про воздух, што ты про воздух раскидывашь; а еще раскинь, – нешто воздух, от которого вонят, – воздух?... Вот тоже...

– А мы, Митрий Мироныч, и так понимаем, мы – што: ничего мы супротив того...

– Подожди: человека нашли: баба моя, Матрена, – хииитрая баба – иии!.. Во-во-вот кккак ааа... – тут опять поперхнулся столяр... – аа-кк-кк... аа-а-аа... акрутит баба человека, – тайна и исполнится: а до сего времени – нишкни.

– Лодырь, сказывал надысь ты, человек-то тот – из господ, – насторожился Абрам, и глазенки его, казалось, попрыскивали лукавством. – Уж не тот ли паря, што в Гуголеве проживат? Так ведь его не возьмешь – бабой-то: сам, поди, бабой обзаведется, и при том баронессиной внучкой...

– Ладно: пусть обзаводится; нешто денежки баронессины – малы деньги: вот тоже... Поклевать – поклюют голубки золотые зерна. Вестимо женится: а с бабой моей иему... ннн... ннн... ооо-но-но-но-но... ночевать, там уж как знай, а баба от него зачнет – вот те крест!

– А почто с ним, а не с иным каким, хошь бы, скажем, с тобой, Митрий Мироныч? Чем ты не горазд – и лицом вышел, и духом! – приврал Абрам, потому что духом вышел столяр изрядно; а вот лицом, так, можно будет сказать, – не вышел: потому что какое же, спрошу я, лицо у столяра? И где его увидали? Не лицо – баранья обглоданная кость, и притом – пол-лица; лицо, положим, – лицо; а все кажется, что пол-лица...

– Сссса-ссса-тар, я – стар; пойми, друг, – да к вере духовной – в года я пришел; больно я плоть свою прежде поганил – вредно мне женское естество – не по мне: вот молиться – помогают; то стать иная – прозрение осенят о естестве, а штобы сам – нет: голубиное чадушко, – горько вздохнул Кудеяров, – не от семени моего, – от иного, чужого... А тот вот, лодырь-то, – Дарьяльский, што ли? – с ревнивою мрачностью прошипел столяр потемневшим лицом. – Ентова плоть духовна: как мебель прошлое лето у Граабеной справлял, в саду его и заприметил; вот тоже: духом, он духом на все – на травинку, на Катьку свою, на все – духом он исходит; по глазам вижу – наш, и ён все о тайнах, да ён из господ; не может обмозговать ён, кака така тайна: оттого што учился – ум за разум зашел; а тайны нонече с нашим с братом, с мужиком: сердцем учуял ён, да, видно, – не по мозгам. А духу-то хошь отбавляй... Вот думаю я, с Матреной-то мы не можем – вот тоже: дай-ка, гврю, бабе, гврю, своей, вас, гврю, с ним (ведь она, баба-то, тоже духом на все: все у нее такое духовное тело-то...). А она перво-наперво устыдилась, да потом попризадумалась; крепко о таю пору запала мысль: мы – молиться; вот и сошел на нас о таю пору дух (ей, как молилась; мне же сонное было видение); ну, гврю, чрез тебя, гврю, баба, великая, гврю, будет земле радость. Втапары и стал я оповещать братий наших: скоро, мол, – потерпите – скоро; а тут всякие знаменья начались; пошли сицилисты, затарабарил народ про вольность; странные по небу заходили тучи. Пугача помянули. Етта, друг, – цветики: ягодка во какая будет... тоже... *Я вот – ух как!*

– А на Катькины деньги понастроим мы кораблей, тоись, опчин, – на Катькины да еропегинскины деньги: штой-то, вот тоже, болезный какой сам-то купец стал; уж я с травушкой к Еропегихе засылал, – да не помогают: пуще штой-то хворость купца одолеват: со смерти-то самого к кому, как не к нам, потекут деньжищи; вот, можно сказать, во што воздух, тоись, дух, мы обращам: там – деньжищи, а там – мебель... Вот тоже...

И уже молчат, только легкий свеваается дождь; только легкий взметається ветер; куст тощий пролепетал, и – ничего.

И уже прошли хутор: жирный осел человек там при дубовой роще; развел яблочный сад, да его и обнес крепкой оградой из нетесаного камня, как раз в том месте, где проселочная дорога подводила к шоссе; и потянулось шоссе, белым камнем перерезало овсяные и иные какие поля – телеграфными зашагало столбами, полетело темною сетью проволок и упало полосатым камнем, исчерченным цифрой, и упало кучами придорожных кремней; на камнях известкой тщетно чертили крест (растаскивали камень); загрохотали тележки, заскрипели обозы, пошли пешеходы, затанцевали навстречу подводы с ящиками вина, покрытыми брезентом; а сбоку чаще пошли хутора, прошли деревеньки; вот, даже село всплыло в тумане с бугра и всплыл при нем одиноко стоявший дом среди изб и с железной крышей: то была казенная лавка; перед нею же, на столбе, – деревянный фонарь; утонул дом, утонуло село – туман занавесил. Тут, напротив, из мглы и выступил Лихов, когда путникам нашим стало казаться, что никакого Лихова нет: вот тогда-то он стал медленно рисоваться в тумане собором со многими скученными домами; а уже несколько в стороне стрелки блистали железнодорожной станции; поезд оттуда промычал уныло и тупо.

Лепеха

– А жена, брат, твоя, – тетеха...

– Нет, какое там: больше того; с тетехой еще туды-сюды; не тетеха она – лепеха!..

Так однажды с пьяной компанией и с певичкой на коленях обозвал супругу свою мукомол Еропегин, когда пьянствовал он в губернском городе. Как «лепехой» он Феклу Матвеевну обозвал в присутствии самого предводителя дворянства, так прозвище это за ней и осталось: *лепеха* да *лепеха*. В Лихове скоро не иначе как *лепехой* прозвали Феклу Матвеевну не то что знакомые ихние, но и мелкие лавочники, управляющий хутора, мельники и прочие, находившиеся в услужении.

И не то чтобы она слишком дородна была: а вся как бы обвисла; шелковое же лиловое платье наденет, подтянувшись корсетом; шоколадное ли – и живот и груди так из нея и прут: подбородок надуется, и откинется вся голова; а лицо нельзя назвать жирным лицом: одутловатое скорее, бледное; «недобрая полнота», – говорил Павел Иваныч, врач: не раздобрела – опухла Фекла Матвеевна; и обручальное кольцо уже более года не могла стянуть с пальца: опухли и пальцы. Ну, подгуляли и губы: нижняя губа, скажем, отъехала от верхней ровно на полвершка; и на самом кончике губы – бородавка; это бы еще туды-сюды, а вот что от бородавки той завились колючие волосинки, этого вовсе не переносили многие, особенно мужеский пол и нежные девицы; однажды зашла с визитом Фекла Матвеевна к предводительше дворянства в Светлый Праздник; а предводителя сынишка (белокудрый мальчонок) возьми и скажи: «А с чего это, тетенька, у вас на лице земляничка растет?» Мамаша мальчишку тут же отправила в угол, только все же у мельничихи грустное стало лицо; и глаза стали грустные; тихие были глаза ее, серые: в них светилась покорная кротость. Нечего говорить, что на другой уже день лиховские визитеры говорили о *земляничке* наравне с погодой, христосуясь с барышнями. Только напрасно – ей-ей, напрасно – было ее обижать (не *земляничку*, конечно, а Феклу Матвеевну); правда, что зла никто не видывал от нее, а добра она делала много: в пользу вдов и старух; тут на Паншиной улице для старух был приют. И как только по Паншиной улице зацокают копыта еропегинских лошадей, в окнах промчится «Хведор», а за ним колыхаются тафтяные цветы, фуляр и фрукты на шляпке у Еропегихи, лицо старухи покажется в уютских окнах и хорошее пшамкает что-то такое: бывало, в праздничный день потекут старухи к Фекле Матвеевне – от Паншиной улицы к Ганшиной, где у Еропегиных был деревянный особняк о двух этажах, с фруктовым садом, конюшнями, кладовой, амбаром и даже баней. Добрая была душа Фекла Матвеевна, и стыдно это мужу ее, Луке Силычу, над ней издеваться – правда, стыдно! Ну, какая она *лепеха*: разве у лепех такие бывают сердца: вы поглядите только на глаза!

Но глаз-то своей благоверной и не видел Лука Силыч; видел иное все прочее; оттого и *лепехой* звал, оттого-то все бабился он на стороне, а то, срам сказать, заводил шашни и в дому у себя с прислугой (благо детишки ихние – сын-студент и дочь-гимназистка – обучались на стороне и даже лето у знакомых гостили. Ихние дети с убеждениями были: оттого и гостили на стороне). И нельзя было сказать, взглянувши на Луку Силыча, будто он – бабник; из себя высокий, сухой, с тонкими сжатыми губами, с короткими в скобку остриженными сединами, с небольшою седою бородкой; ходил в длиннополом черном кафтане, опираясь на палку (страдал он подагрой), в скромном картузе; и строго карими он посверкивал из-под очков очами: вот тут и догадайся, что эти сурово сжатые и уже мертвые губы могли так шутить; а глаза эти, солидно спрятанные в очках, ой-ой как умели подмигивать да посверкивать. Можно сказать, что скромный и благолепный образ Луки Силыча выражал прекрасную душу супруги своей, а неказистый вид Феклы Матвеевны был не чем иным, как смрадной душонкой своего богатого мужа: словом, ежели бы самого вывернуть наизнанку (душой наружу) – сам бы стал Феклой Матвеевной; а коли иначе – Фекла бы Матвеевна в Луку Силыча превратилась всенепременно;

оба были единого лика расколовшимися половинами; но что сей лик был обо двух головах и о четырех был ногах, что каждая половина, с позволения сказать, зажила самостоятельной жизнью – такое обстоятельство нарушало правильность приведенного сравнения.

Обе половины откололись давно друг от друга и теперь глядели вовсе в разные стороны: одна половина зорко следила за работой более чем десяти мельниц, разбросанных по уезду, занималась коневодством и не пропускала ни одной сколько-нибудь смазливой юбки, другая же половина замкнулась в себе: странно как-то замкнулась – с опаской, с испугом, с ожесточением; глаз своих давно не подымала уже на мужа, и, грех сказать, всем могло показаться, будто лепеха довольна непрерывными отлучками мужа по мельницам, ярмаркам и в уездный город, хотя и сама знала прекрасно лепеха, что не казенные только подряды влекут мужа в город *Овчинников*, но что влекут его и певички. И всякий раз по возвращении мужа опускала лепеха глаза, – а глаза-то ясные, искристые, чистые у нее были и не ей бы, не ей бы – их опускать; но случились же такие обстоятельства в жизни Феклы Матвеевны, что приходилось глаза опускать даже перед таким мужем, как Лука Силыч; странно было бы полагать, чтобы столь дородная купчиха (да еще в придачу *лепеха*, и не просто *лепеха*, а *лепеха с земляничкой* на губе) предавалась любовным утехам хотя бы и с кучером: нет – иные были причины, смущавшие Феклу Матвеевну; два уже года – нет, позвольте: когда горела коноваловская свинарня? Поди – три уж года, как свинарня сгорела... Так вот: три уже года, как перешла Фекла Матвеевна в согласие Голубя, да так перешла, что стала его опорой и покровительством; она сестер и братьев снабжала деньгами, она их в странствия отправляла к святым местам да к начетчикам, ежели требовался братьям начетчик; более того: с нынешнего года, с той поры, как в согласие перешел со всем своим домом Какуринский, бывший семинарист, купчиха весьма даже крупную отпустила сумму на обзаведение такой машины, которая могла бы печатать воззвания к *братьям-россиянам*; и воззвания те подстрекали народ на восстания против попов, да заодно уж против властей; машину у себя поставил семинарист и от времени до времени что-то на ней выстукивал: пачки листов потом отправляли куда-то в даль (еще боялись нашего уезда пускать листы); а на листах был крест: словом – катать-валяй по всем пунктам – да-с. Ничего-то не понимала тут Фекла Матвеевна, но семинарист настоял, а сам голова согласия, Митрий Миронович Кудеяров, проживающий в Целебееве, молчаливо сие попустил, так что можно было думать – с согласия его те листы отпечатал Какуринский. Но как же произошло такое обращение лиховской миллионерши в секту, содержание которой было столь неопределенно и странно, что понять ее смысл в целом было нельзя, а что и было понятно, то диким казалось и страшным? А произошло это весьма просто; года четыре тому назад в птичницы поступила к ним девушка, Аннушкой звали: молодая была девушка (у окрестных помещиков она служила), бледная-бледная и не красивая: но вот было же что-то в лице ее, потому что однажды на птичник пожаловал Лука Силыч, ну – и само собою понятно, что от этого произошло: горько плакала Аннушка-Голубятня (я забыл сказать, что Лука Силыч перед тем, как пожаловать к Аннушке, все шутливо дразнил ее голубятней на птичнике; а уж кого как сам окрестит, так до гроба за ним и пойдет прозвище самого), – ну: плакала она, плакала, пока к ней не пришла на птичник сама лепеха – утешать: лепеха взяла и утешила; с той поры они и подружились, а в скором времени лепехе открылась Аннушка, – в какое она перешла согласие: скучная жизнь, дивные речи Аннушки-Голубятни про целебеевского столяра и про то, как нестыдливо в согласии, сладко молиться, все это – сделало свое дело: под видом починки мебели столяр предстал пред лепехой, а уж как на кого глаз направит столяр, кончено, – не выйдет тот из-под власти его; словом, Фекла Матвеевна после только не мужнина жена – столяровская богомолица стала; книжечки у ней завелись: сама она некие переписала молитвы; потом, по ночам, ризы все вставала она вышивать, обзавелась и сосудами тоже – да вот, как бы не забыть: вскоре после того сменили ночного сторожа Еропегины, а на место его появился Иван, с красной бородой детинище, с красными веснушками и почти что с красными глазами: «*нечеловек, а – огонь*», –

сказал про него Лука Силыч, – ну и пошло прозвище за оболтусом: Иван Огонь. И оказалось, что Огонь тот Кудеяровым-столяром послан; так, мало-помалу, прежние слуги перевелись, а вместо них появились сектанты из деревень подгородних; стал еропегинский дом – голубятник (к тому времени более двухсот *голубей* поразвел столяр, хоть и таился сам он от многих, а в Целебееве так вовсе не совратил Митрий никого, но таился, разве что рябая баба голубихой его слыла). Так занесли в Лихов новую веру, и она пошла гулять по Лихову, как моровое поветрие, знай, катает-валяет себе: оказались сектанты в Лихове – мало, правда, но все же число их росло: перешли некоторые семьи мещан, перешел Какуринский; «голуби» шептались, будто две барышни тоже по-ихнему принялись молиться; но какие такие барышни – этого то и не знали; ей-Богу, вы ахнете, и еще донесете, пожалуй, если признаться вам откровенно, что старушенция из приюта целиком запшамкала слова новых молитв, откололась от правой веры, затаскалась молиться к Фекле Матвеевне в банное помещение в дни, когда *сам* уезжал в Овчинников – кутить; и всех принимала лепеха потаенно, передавая всем писульки от столяра, потому что вся дворня, если не считать Хведора, была *своя, братская*; а Хведор – разве мог что увидеть Хведор, кроме бутылки с водкой? Сам-то уедет – он за бутылку; ну, и не видел ничего Хведор; среди дворни оказались старые голубихи, бородатые голуби, ясноочитые, гулькающие голубки; только жутко вот становилось, как возвращался Лука Силыч; бывало, насупится он, а сама вся поникнет, обрюзгнет и губы развесит: все боялась она, что дойдет до него слух – и, ух, как этого она боялась; но сам ничего не знал; правда, смекал подчас, будто дом его и вовсе переменялся: те же, казалось, стены, а нет – не те; та же пузатая до нелепости, золоченая мебель; но и мебель не та: точно оскалится на него мебель; войдет невзначай в комнату, и комната та, как застигнутая врасплах купальщица, будто силится что-то она утаить от его хозяйского взора, как старалась давно утаить Фекла Матвеевна взор свой от мужнина взора: смекал подчас – жутко и холодно что-то станет ему, взглянет на стены – ничего себе стены, в богатых обоях, с портретами; а все же поморщится, на жену посмотрит – *лепеха* какая-то: что-то смекнет и уедет прочь. А *лепехе* только того и надо; стены ей милы, как мил ей весь дом, изо дня в день преображаемый ее молитвой. И если б Лука Силыч умел разговаривать с ней да сказал бы, как по ночам в углах завелось стрекотанье, тетереканье, пшиканье, не поверила бы Фекла Матвеевна ничему, а сказала бы: «завелись тараканы».

В муже беспокоило ее не то: вот что он все худел да покашливать стал – это действительно взволновало ее не на шутку: зелий тайком подливала ему в чай, зелий, присланный столяром; но будто в насмешку над целебным зельем, в насмешку ей, Фекле Матвеевне, быстро стал худеть и худеть Еропегин; и все его что-то тянуло из дому: будто и вовсе не жил он теперь в Лихове; уедет – приедет здоровым; день, другой поживет – опять лицом сдал. Дивилась Фекла, что травушкой мужу она не могла оказать помощь.

Лихов

Ела, ела и съела-таки глаза проходим сухая пыль, лиховская; а с утра Духова дня серое решето, наполненное водой, опустилось над городом; из решета протек дождь; скоро улицы Лихова превратились в кисель, и в нем таратайки, телеги, подводы, тройки, а еще пуще пешеходы забарахтались беспомощно; если еще в полях можно было кой-как пробираться, то по улицам Лихова пробираться было нельзя никак; обитателям собрали точно назло всю грязь из окрестностей и эдак ее разварызгали по городу; но всего изумительнее, что эта грязь летом имела обыкновение просыхать всего в два часа; и вся, что ни есть, в пыль она обращалась; так обитатели богоспасаемого сего городка вели образ существования своего между двумя, так сказать, безднами: бездной пыли и бездной грязи; и все делились – на любителей грязи и любителей пыли – все без исключения; к первым принадлежали женатые люди, лавочники, мещане, производившие уйму кур, тряпок, детишек, соломы, банок, ящиков, опрокинутых вверх дном, выбрасывая свое, так сказать, производство на поверхность лиховской жизни, ибо как, спрошу я, вся эта уйма поместилась бы в одноэтажном домике с двух-трех окнами с забором на Ганшиной, Паншиной и Калошиной улицах? Куры рылись в городской пыли или в городской соломе, а то и в городских лопухах и репьях, обильно произраставших под заборами и придававших оному городку, с позволения сказать, кокетливый вид; детишки, как бы это выразиться... Солома же ясно и просто, до очевидности просто, рассыпалась по городку, отчего в грязные, то есть дождливые времена некоторые части богоспасаемого города напоминали двор скотный (выражение *богоспасаемый* применимо к городу Лихову скорей как риторическая форма для украшения; откровенно говоря, Лихов был город, не спасаемый, так сказать, никогда, никем и ничем: истребляемый, наоборот, желудочными болезнями, пожарами, пьянством, развратом и скукой). Остается сказать только о трех производствах грязной части лиховского населения: тряпках, банках и ящиках; ну, само собой разумеется, – первые покрывали заборы, приятно пестря взор; и можно было перебить вторые, входя на крыльцо любого домика, ибо они весьма докучливо преграждали вход; только перевернутые вверх дном ящики скромно ютились в лиховских садочках; ничему не споспешествовали перевернутые ящики. Таковы были жизненные продукты самой жизненной части городка – грязной; я говорю, *жизненной части*, по весьма понятным причинам; эта часть градского народонаселения плодилась весьма охотно, занималась торговлей, а то и сбытом хлеба, была жирнее прочей, т. е. пыльной, части; все красноречиво указывало на то, что именно отсюда выйдет спасение и укоренение во времени славного города Лихова.

Что же касается до прочей и весьма немногочисленной партии – пыльной, то ее составляли служащие правительственных учреждений (почты и телеграфа, Метелкинской железнодорожной ветви, сберегательной кассы), земцы, ветеринар, два агронома, две акушерки, врачи, агент земского страхования и еще кой-кто; эта часть народонаселения откровенно томилась и вздыхала; открывала летом она все настезь окна занимаемых помещений, отчего клубами в окна желтая вламывалась пыль и покрывала предметы первой и необходимой надобности (щетки, гребенки, зубочистки, книги) густым, легко стираемым, но еще легче возникаемым слоем песка; эту часть народонаселения откровенно покрыли пылью; оттого пыльной назвать можно было ее с успехом; еще и потому можно было ее назвать пыльной, что, выражаясь метафорически, вся она пылила табачным дымом, так что если бы и стерла всю пыль в помещениях этой публики некая мудрая рука, помещения все же пылились бы дымом, а столы, полы и пуховики оказались бы в мятых окурках и в пятнах пепла; нечего добавлять, что грязная часть положением своим была и очень довольна, с надеждой взирая на будущее; часть же вторая причисляла себя к недовольным, к безвинно страдающим; но отделявшая их коренная черта все же была не та, а иная – а вот какая: храбрая, грязная часть доносила на пыльную; пыльная

же не занималась доносами вовсе; в Лихове оттого состав ее быстро сменялся; первая часть ко второй относилась, как зло к добру, и обратно; были такие, гордо и вольно которые возносились над всей жизнью Лихова и как бы по ту сторону стояли добра и зла, и, однако, здесь проживали и лето и зиму, но проживали они не на Ганшиной, Паншиной, не на Калошинных улицах, а на Дворянской и Царской, над грязной и пыльной возносясь частью двух-, а иногда и трехэтажными домами; к ним принадлежали немногие переселившиеся в Лихов помещики (для них в лиховской гостинице имелись всегда фрукты, французские вина, сыры и сласти), а также немногие миллионеры, вставшие к свету, из лиховской грязи восставшие; исключение составлял Еропегин, к свету хотя и восставший при миллионе и втором этаже своего деревянного флигелька, однако в месте грязного своего оставшийся жития – на Ганшиной улице. Подобно тому, как мир души человеческой, невидимый в пространстве, громадное, как говорят, имеет стремление отпечататься видимо при помощи знаков брэнного своего естества, так точно вознесенное и преображенное сословие города Лихова отпечатлевалось на внешности одного города градским увеселительным садом, где хор трубачей усердно ревел марши в воскресный день, и отпечатывался также асфальтовым тротуаром с – ей-Богу! – с целыми с пятью электрическими фонарями; и тротуар, и фонари окаймляли громадное здание казенного винного завода, откуда тащились подводы с ящиками вина во все, как есть, села Лиховского уезда. Сиявшая и преображавшая Лихов *Монополия* по вечерам собирала всю лиховскую аристократию; в то время, как пыльная часть в тихие, летние вечера в градский отправлялась сад, когда желтая заря издали в темь улыбалась отрадно из-за пышных, пыльных груш, лучшие семьи грязной части высылали на асфальт казенного винного завода взрослых своих сынов и бледных дочерей в шелковых платочках, а то и в шляпках побродить в *лихотрическом* свете, поплевать на асфальт подсолнушками; сии два эдема отображали достойно преображение к свету славного русского городка.

В описываемый день трубачи одиноко в саду трубили свои марши, а вдоль казенного винного завода асфальт был совершенно пуст; никому не улыбалось приятно измокнуть под дождем, хотя бы в саду или даже на асфальте, да еще предварительно приклеиться калошами к липкой грязи, уйдя в нее до колен, и там, в грязи, свои оставить калоши. Все, кроме свиней да несчастных проезжих, сих прямо-таки страстотерпцев, сидели по домам; кто завалился по случаю праздника спать с четырех часов пополудни, а кто, сложив ручки на животе, садился к окну повертеть большим пальцем правой руки вокруг большого же, но левой руки, пальца; сидел, вздыхал и поглядывал в мокрое, все точно грязными тряпками увешанное небо, как оттуда барабанил по стеклам дождь, да как пролетала оттуда ворона, или как свинья, уткнув морду в грязь, под окном замирала сладострастно, только вертелся хвостик ее, чтобы потом вскинуть грязную свою морду, подышать и ее уткнуть снова в грязь. Многие так сидели под окнами, барабанили пальцами, молчали, икали, вздыхали, дремали, а все же сидели – сидели до бесконечности.

Не посидела на месте в тот день Фекла Матвеевна вовсе; орехи не щелкала она, не чесала спины особой, для такого случая заведенной палкой; день-то был – Духов, а ее благоверный вот два уж дня отлучился в уезд; и дел у нее потому было пропасть: во-первых, – надо было, чтоб Хведор напился (и Хведор уже напился); во-вторых, нужно, чтоб в помещении банном все приготовлено было к приему гостей; и провозились они с Аннушкой с Голубятней – утром сходили к обедне – это уж только для виду; из-под постели выдвинули потом тяжелый сундук; потаскали оттуда сосуды, длинные, до полу, из белого холста рубахи, кусок огромный голубого шелка, с на нем нашитым человеческим сердцем из красного бархата и с терзающим то сердце белым бисерным голубем (*ястребинный* у голубя вышел в том рукоделии клюв); тоже сосуды, два оловянных светильника, чашу, красный шелковый плат, лжицу и копие потаскали из сундука, в то время как Иван Огонь наломал в еропегинском саду березовых прутьев и снес их в баню.

В барских комнатах возжигали лампы; только парадные комнаты одиноко скучали в стороне от всей хлопотни; скучал зал с пузатой золоченой зеленою мебелью и с пузатым зеркалом красного дерева, с ясным как зеркало паркетом; скучала гостиная, что в малиновый заткана шелк, что увешана и обложена мягкими коврами, на которых нагие юноши изображали охоту за ведром; и столовая скучала тоже; пусто было здесь и уныло; только изредка раздавался шелковый шелест: и тогда проплывала здесь сама Фекла Матвеевна в шоколадном нескладном платье, выдаваясь вперед и животом, и грудями, и подбородком, и губой; быстро она по коврам прошамкивала платьем и пропшикивала по паркетным плитам со сложенными на животе руками, всплывая и уплывая в зеркале, – плыла в свою половину, где, как раз наоборот, жизнь кипела ключом; туфлями топотали, вавакали, бормотали там две ветхие днями приютские старушки с... , можно заметить, серого цвета лицами и с бледными ушастыми чепчиками; и неслышно летала по коридору бледная – вся в белом – Аннушка-Голубятня, бледно-белым летала бескровным нетопырем; летали белые ее босые ноги и русая ее распущенная коса; еще в три часа дня от Паншиной улицы к Ганшиной, по буеракам, по лужам, по грязи, поплыли старухи и вдовы приюта и утопали в колдобинах: только серые над головами спины их колыхались, и плавали в лужах только платки, крылья вороньи, трепались по ветру. Скоро стая старух оживленно захрякала у ворот еропегинского дома, угрожая зонтами и палками свинье, напиравшей на них своим пяточком из лужи; но ворота otvorил рябой мужик, покрытый волосами, с до ужаса красными веснушками; воссипел он угрюмо, что, дескать, куда пожаловали они в такую рань; после чего ворота захлопнулись, и старушечья стая, преследуемая свиньей, недовольно запшамкала обратно: с улицы Ганшиной на улицу Паншину.

Ох, с чего это погнали старух – ей-Богу! Разве в самом в кабинете Луки Сильча не расселся Какуринский еще с двух часов дня: он да два мещанина; все трое закопались в принесенных листах, деловито пролаяли их голоса, зашептались страницы (а на листах черный был крест); чмокали чай и довольно-таки нагло погрохатывали смехом; козлиная борода семинариста плясала в воздухе, когда, согнувши в воздухе перст, он держал совет о ближайших целях согласия, а оба мещанина, башмачник и медник (чья вывеска без обозначения рода занятий, а прямо-таки «Сухоруков», красовалась над городским базаром, и все уже знали, что Сухоруков лудит кастрюли), – а оба мещанина, закручивая сигарки, поддакивали Какуринскому: слова вертелись вокруг того, что примкнуть братьям-голубям к забастовщикам пора давно – пора с сицилистами идти рука об руку, не открываясь до срока сицилистам, и даже наоборот: направляя, где нужно, самих сицилистов этих – да-с: потому что и сицилисты, хотя правду видят, да только под одним своим носом; а прочее все у сицилистов – дрянь. Так обсуждали лиховские мещане свою, можно сказать, лиховскую политическую платформу, собираясь лезть насладить и сицилистам, и столяру; в том же, что столяру все ведомо, хоть и прост он по виду, мещане не сомневались, как были они уверены и в том, что оба – «за слаботу».

И уже смеркалось. В небольшой комнате, где стояла постель невероятных размеров, а с еще более невероятных размеров перинами и пуховыми подушками, грузно склонилась Фекла Матвеевна на колени, с книжечкой в руках, под старинным ликом, озаренным лампадой; грузная потная купчиха шептала дивные слова новых молитв, что, как старые песни, хватают за сердце и несутся над раздольем русской земли. И не знаешь, откуда такие слова зародились, – ведь не Фокин же, не Алехин слагал те слова: сами слова завелись благоуханных тех молитв, от отрадных и хладных духа дыханий, от рыданий человеческого сердца, от увечий согбенной души – дыши, купчиха, молитвами теми! И всеми своими помыслами уплывешь ты куда-то; и Фекла Матвеевна дышала теми молитвами, и комната поплыла перед ней; еще пуще купчиха балдела и бормотала, грузно ударяясь лбом о пол среди перин и пуховиков.

Уже вовсе стемнело, а дождь бился о стены, о стекла, о забор еропегинского дома, и отчаянно рвалась у забора желтая стая курослепов, и отчаянно бился лопух о деревянные ступени еропегинского крыльца; там, в глубине Ганшиной улицы, будто сам собою зажегся фонарь; и –

там – в грязь из окон жалкие пролились огни; мутнело, мрачнело, синело тьмой над заборами небо все больше и все грознее: спускалось, подкрадывалось к домам, и лихо в лиховский наливалось оно воздух, и прилипало к окнам, срывая ставни.

Тогда, когда весь уже воздух отравила слезливая мгла, под крыльцом еропегинского дома стали два человека; промокшие, грязные, хмуро они рисовались во мгле: это и были Митрий с Абрамом; постояли еще немного, высморкались в руку, вздохнули, что-то пробормотали и, наконец, вошли на крыльцо.

В комнатах дверной колокольчик проклинькал тогда и жалобно, и едва слышно; но уже в доме засуетилось все как есть: по черным парадным комнатам пронеслась Аннушка со свечой в руке; в черных парадных комнатах скользнула она по поверхности зеркала – холодной, бесплодной – и утонула в прихожей.

Лик голубинин

Аннушка глянула из-за цепи наружу: смотрит она – бесится там дождевая пыль: но в отсветах свечи ослепительным светом ударил в нее серебряный голубь, а над птицей мокрые свои кудри склонил человеческий лик; голос знакомый томным вошел в ее сердце, томным бархатом:

Девицы-красавицы —
Светел теремок!
Душеньки-подруженьки, —
Пейте пиво да медок!
Ждите гостя, ждите:
Гость тот недалек —
Из страны далекой
В терем ваш притек.

Из прихожей двери вели в зал да в Феклы Матвеевнины покои; из залы испуганно глянуло обвислое лицо *самой*, со свечою в руке; из противоположной двери выставились две старухи (мещане же шептались за дверями); у всех вытянулись лица: дух Луки Силыча невидимо бился в изорванных свечами лоскутьях тьмы, угрожая бедою; но вот Аннушка приоткрыла дверь, тревожней заверещали старицы в темном провале двери; пуще шукнули за дверьми мещане, будто желтые листья, влекомые мглой, когда ветер сорвет их и затерзает в воздуха вздохах – там, за дверьми, их умиленные лица истаяли в улыбке; все склонились пред распахнувшейся дверью, когда нищий попрал порог, величаво пристукнув тяжелым посохом; прыснули темные кудри его из-под белой поганки; прыснули темные очи его из-под опухлых век; прыснула светом голубь-птица на пороге того дома: благодать снизошла в дом...

И когда Абрам протягивал братьям и сестрам заскорюзлую свою, в тьме измокшую руку, радуясь, что покой и мир ожидает его после многих холодных верст, после многих бесплодных пространств, – там, за Абрамом, за птицей там голубем, – там, в безначальной тьме, еще ничего нельзя было разобрать, но уже что-то было: *оно* топотало на ступеньках крыльца – как безначальная тьма, как безначальный покой; вот и *оно* показалось в прихожей; что-то хворое, жалкое повлеклось за нищим; хмуро вошло *оно*, будто утаивая принесенную сладость в образе угрюмом, – сам столяр строился из тьмы; он протянул свою хворую руку – бросилось его в упор лицо, но снилось им, что лица тут нет, а все только морщинки да смутные черточки; только из-за лица, как из бессмертных, зазвездных далей, не очи, а теплый удар света вошел в их сладко вздыхающие груди...

Митрий Мироныч пожаловал в новых своих сапогах (это их-то он, кряхтя, натягивал на ноги: оттого и не сразу вошел вслед за нищим), обратился к ним общим поклоном; и жадно старухи увлекли его прочь ото всех, чтоб не рассеялся он, чтоб с молитвой он до вечера мог собраться – ревниво вели через сад, через хлюпающие лужи грязи: фонарь слепо мигнул на дворе, потом он мигнул из-за яблонь: огонек постоял вдалеке, в глубине – у бани; и огонек погас: во тьме провалился столяр со старухами. С приходом столяра все разошлись: пора было сосредоточиться; одиноко сперва помолиться молитвой, отмыть свою душу от вседневной суеты. И опять по парадным комнатам прошуршала купчиха, просияла свеча – все померкло, ослепло, оглохло: мир отошел прочь, и во мгле рассеялись стены.

И опять зезенькал звоночек; в темных моргала покаях свеча; строились, возникли в свете стены; тень Луки Силыча жалобно билась в углах; в прихожей стояли мещанки, мещане, градские мещаночки; простаивали в прихожей, пропадали, уведенные чьей-то рукой в чей-то

покой. А уж с Паншиной улицы к Ганшиной снова подплыли старухи; – и ломились, и стучали зонтиками в ворота...

В отдельном флигельке, недалеко от ворот, где помещалась дворницкая, и в самой дворницкой кипел самовар; за самоваром, вымытый уже и распаренный, сидел нищий; он лукаво подмигивал на мглу, потягивая из блюдечка китайскую влагу, и говорил Ивану Огню, который угрюмо колупал пред Абрамом большой свой нос и тревожно посапывал:

– Что, братец, будешь и нонече вокруг бани гудеть колотушкой – чертей выгонять да с драконом бороться, когда в бане мы на молитву все встанем, – можно сказать? – добавил он, неизвестно что разумея этим «*можно сказать*».

А колотушка лежала на лавке; над колотушкой клонился Иван Огонь своим волчьим, чего-то раз навсегда перепуганным лицом; всего неприятнее в этом лице было вовсе не то, что оно – волчье, но то, что волчье это лицо внизу кончалось до ужаса красным клоком волос, и кончалось оно сверху – до ужаса красным вихром; был он в белой рубахе с красной подмышкой заплатой; неизвестно чего, но чего-то раз навсегда испугался Огонь; всего вероятней, его напугал столяр, показавши однажды на мглу и на хохот во мгле злого ветра; с той поры и открылось Огню, что черт – есть; душу свою Иван отдал, чтоб истребить эту пакость, в чем бы она, пакость, ни означалась; аки огонь поедающий, свирепо расхаживал по белу свету Иван, ратоборствуя с геенной; и неспроста, видно, столяр пристроил его ночным сторожем здесь, в этом доме. Злую силу видел Огонь и во мгле; как завидит он что, колотушкой взмахнет, колотушка зальется – колотушки той больно боялись бесы; только недавно что-то сам к Ивану дракон припожаловал, как светать уже стало; бился с драконом, бился Иван – сам не помнит, что было: только едва не подпалил дворницкой; так Огонь чуть-чуть не обратил и дом Еропегина, и усадьбу, и службы в геенское пламя.

В последнее время – шепнул ли кто, сам ли дошел – крепко стал призадумываться сторож над тем, что есть строгий хозяин его, Лука Силыч: не драконово порождение ль? Попризадумался, но молчал и еще более супился и без того насупленным он лицом (видно, недаром тот, кто посмотрит на ужас геенский, сам легкий отсвет геенны на лице своем носит; такой отсвет почил на Иване).

Все в нем возбуждало только страх или злость; и когда братия молилась, сладкие возгласы когда раздавались из бани, и вздохи, и смех, полный блаженства, и раскидистый рев пророчащего столяра, – тогда Иван крепкою злостью вскипал на врага рода людского, и, точно на бой ад и мглу вызывая, трещала, плясала, захлебывалась клокотаньем деревянной трели, и рвалась из рук, и бросалась на мглу Иванова колотушка, и трещал ногой по кустам, плясал ногами, шепотом захлебывался, и бросался, и рвался во мглу сам Иван; братия почитала Ивана великим подвижником: иные шушукались, что Ивана поглотит геенское пламя, что провалится в пламя Иван, охраняя сестер и братий; не пускали Ивана в баню: кто без него разогнал бы шутов и бесов, слетавших в ночь, угрожавших моленью и бденью?

Нынче был Духов день, и уж Иван собирался на бой, и провидел он беса, и точно заранее подбирал он площадную ругань, сплевывая на пол, между тем как нищий Абрам беспечно распивал чай и никакая сила, казалось, не могла оторвать его от житейского этого дела: одному лишь Абраму разрешалось до полуночной трапезы разговляться чайком, ибо был Абрам человек полевой и вся его стать, прямо сказать, иная была, не братина.

И Абрам распивал чай, духом возвеселившись, меж тем как Иван, озлившись, одел полушубок да во мглу и пошел; и во мгле плодового сада, отделявшего баню от служб, кустик похрустывал, веточка наклонялась; что-то угрюмо сопело у пня: это Иван, ночной сторож, бродил, караулил, но не стучал колотушкой; еще только издали шелестела вражья мгла крыльями: бесы еще не спускались на землю: бой еще предстоял впереди – и какой бой!

В бане была тишина; в бане была прохлада; баню не топили; но вся она, с наглухо закрытыми ставнями изнутри, сияла, светила, плавала в свете; посреди нее стоял стол, покрытый, как

небо, бирюзовым атласом с красным нашитым посреди бархатным сердцем, терзаемым бисерным голубем; посреди стола стояла пустая чаша, накрытая платом; на чаше – лжица и копие; фрукты, цветы, просфоры украшали тот стол; и березовые зеленые прутья украшали сырые стены; перед столом уж мерцали оловянные светильники; над оловянными светильниками сиял водруженный, тяжелый, серебряный голубь (когда дух осенял сестер и братьев, голубь срывался с древка и летал, ворковал, порхал крылом, играл в помещении банном); в соседней комнате, что поменьше, одиноко стоял аналой, ничем не убранный; на аналое том книга; в белом весь одеянии, с босыми ногами и с восковой над книгой зажженной свечой теперь, когда еще пусто все было, усердно... – нет, не молился! – иступленно падал на землю столяр – падал и вновь с полу взлетал, взлетал и падал – с протянутыми руками, с бело-огненным, с до ужаса восхищенным лицом – и разве лицо это было? Нет, не лицо: как бледный, утренний туман, что, как свинец, густо давит окрестности и потом тонким уже в солнце вьется паром, чтоб совершенно исчезнуть в ослепительном утреннем блеске, так просквозило, как пар, истончилось и, наконец, исчезло его лицо: так в хворых и жалких чертах просквозило сначала, потом прочертило, влилось и расплатило светом ветхие эти черты иное, живое солнце, иная, живая молитва, иной, еще в мир не сошедший, но уже грядущий в мир Лик – Лик Духов. А эти глаза? – глаз не было: было что-то, на что невозможно взглянуть и не поддаться, не ахнуть восторгом, не закричать в ужасе; свет, исходивший из глаз, растопил лик, пролился на белые одежды одинокого молитвенника, который то падал, а то взлетал, простирая свои иступленные руки за братьев, за Россию, за то, чтобы тайная радость России сбылась, чтобы так воплощение духа в плоть человека свершилось, как того не мир, а он, столяр, хочет; и стонет, и кличет, и просит он – того, одного: ничего ему больше не надо...

Невыразимо, невыносимо в пустой бане с ослепительным этим виденьем; но немного еще ему одному молиться; уже близ бани, среди яблонь, у дома по грязи хлюпают ноги – и там, где плывет во тьме фонарек, да и там, где нет фонарька, хлюпают к бане ноги: это братья и сестры тянутся теперь на молитву; жутко тукнула в чуткой тьме колотушка: в жуткой и чуткой тьме ночной сторож оповестил: близок враг; и уже спешат – спешат на молитву.

Тихо входят в предбанник то один, то другая: в предбаннике разуваяются, в белые облакаются там одежды. Глядишь – то тот, то другая в самой уже бане: молятся вокруг стола, а в соседнюю комнату, где за аналое стоит столяр, – ни ногой; да и он уж не тот: не сверкает лик столяра: белое снова на нем лицо, белым облачком обозначилось снова – вот и длинное мочало бороды, и нос вот, и все прочее, столяровское, никакое иное, только будто сквозное оно все – лицо; и глаза сомкнуты; стоит, читает молитвы.

Уже ввалилась и старушенция в баню; будто смертеньши, маленькие старицы, гаденькие, сутулые, бородавочные, – а тоже в белом во всем: по стенам стали, бормочут себе молитвы; уже и Какуринский тут, и Сухоруков-медник, и иной мещанин, и мещаночки, и *сама*, и еще кой-какие: сперва и не разберешь, кто да кто; не узнаешь: так свечи им лицо зажгли, так белые их одежды преобразили: ничего себе, молятся – наполнилась баня; и вот заперта освещенная баня с народом, будто и вовсе от мира она отрезана: здесь – мир новый, и все здесь иное, свое, голубиное; в ярких светильниках высоко поднятый голубь распростер надо всем свои крылья яркого серебра; шелк голубой, дорогой да крученный, под ним расстилается и отражается будто в шелку том голубь-птица.

Почитает столяр, почитает, да и повернется, руки прострет над прибранным столом, над атласом, цветами, плодами, просфорами; и над чашей прострет он руки: пустая чаша; она наполнится в тот день, когда родится царь-голубь – дитё светлое; а пока святости нет, нет и вина в пустой чаше. И над братьями прострет две свои руки столяр: клонятся люди, падают на пол; в тот день, как придет к ним радость, не упадут они, но ясно раскрытыми очами в ясно открытые очи друг друга воззрят с прекрасной улыбкой. И над березками две свои руки прострет столяр: неподвижны березки; они и не прошелестят, не преклонятся; не так будет в тот день,

как слетит с древка своего голубь, на древке распластанный: он опустится пером серебрёным, гугукнет пером серебрёным и сядет на те березки. И белым стенам уже простирает усталые свои руки столяр: исполнится час, и белые стены белою станут далью без конца и без края; так раздвинутся в оный день онога града стены; широко и вольготно заживет в новом царстве, в серебряном государстве, под голубыми под воздухами народ. В том же царстве и серебряном том государстве кто да кто воссияет на царство? – Дух. В том же нёбушке, над голубыми над воздухами кто да кто пролетит? – Гигантская пролетит голубиная птица с клювом; клюнет она алое мира сердце, и пурпуровую кровушкой, что зарей, оно изойдет: сердце. И в потолок уже вовсе бессильно простирает ладони молитвенник – глядите: потолка вовсе нет: будто пошел потолок иконописью: синькою там намазано небо с сусалом проставленными звездами. Почто же оно высоко-высоко: да и вовсе то новое небо, и видит его – столяр; только братия не видит: строго-настрога заказал им столяр по сторонам озираться, и они не видят уже ни потолка, ни стен – точно и нет никакой бани; уже они кружатся, взявшись за руки, вокруг столяра хоровадом; тихо, строго и чинно ходят: не пляшут, – им плясать не дозволено; бедствие может великое приключиться от пляса: – не пляшут, а ходят, хоровад водят, тихую такую песенку заводят:

Светел, ой светел воздух холубой,
В воздухе том светел дух дорогой.

Так себе – поют...

А лица? Силы небесные, что за лица! Никто, никогда, нигде таких лиц не видал: не лица, а солнца; еще за час до того безобразные, грязные, скотские у них были лица, но теперь эти лица на все струят чистую, как снег и как солнце, ясную свою прохладу: а глаза – глаза опущены; воздух же – не воздух, а просто радуга; не молитва – а переливы радуги воздушной.

Так себе – поют, хоровад водят:

Светел, ой светел воздух холубой,
В воздухе том светел дух дорогой.

А между ними тихонько в том, в золотом, в голубом в воздухе поворачивается с чашечкой масла молитвенник: два перста в масло опустит и начертание на лбу у кого-нибудь проведет; тот поднимет на него очи, та исподлобья взглянет – не теплом и не хладом, но силой и светом обольет и того и ту: уже вот тот, и уже та – и *это*, и *это пресветлое уже лицо* – за столом; все теперь восседают за столом в радуге седмицветной, среди белой, райской земли, среди хвои и зеленого леса и под Фаворскими небесами; некий муж светлый, преломляя, раздает просфоры; и глотают из кубка (не из чаши вовсе) вино красное Каны галилейской; и нет будто вовсе времен и пространств, а вино, кровь, голубой воздух да сладость; они не слышат, как там, за стенами, колотушка заливается трелью и как огненный страж защищает дверь от дракона – для них нет того, что не с ними. С ними – блаженное упение и вечный покой. Серебряный голубок, оживший на древке, гулькает, ластится к ним, воркует: слетел с древка на стол: цапает коготками атлас и клюет изюминки..... Измучился в борьбе, борода растрепалась, тукает колотушкой под дверьми бани Иван, ночной сторож: страшно ему: «Пустите, ей, – немоготу мне борьба». Колотится в двери. И ему нет ответа: там, за дверьми, мертвая тишина; разве не знает Иван, что уже и никого там нет? Если бы в сей час взломать дверь да войти в баню, грязные стены увидишь да лавки, а еще, пожалуй, услышишь сверчка: а люди, свечи, цветы и светильники – вот скажи, где все это? Знать, вышли себе из бани каким потайным ходом, да и гуляют по небу, райский цвет собирают, беседуют с ангелом.

Посопел, посопел у бани Иван; и пошел он от бани прочь: пошел он спать в дворницкую...

Утром голубое все было, и небо, и воздух, и роса: как светало, поскрипывали ворота еропегинского дома; из ворот выходили зеленые, хмурые люди, безмолвно, безжизненно расходясь по домам; еще позднее алела над Лиховом зорька, отражаясь в утренних лужах, да на воле забытая свинья хрюкала и рылась в сыром бурьяне; да еще воротившийся Хведор, вдрызг пьяный, колотился под воротами и потом покорно, спокойно, плавно улегся он в грязь. А когда и вовсе светло стало, так какая-то баба, с высоко задранной юбкой, смело шагала по колено в воде; и напротив еропегинского дома, где была вывеска «Портной Цизик-Айзик», в окне кривенького домика показалось еврейское, заспанное лицо.

Лиховское житье

Следующий день был день душный; потное пыльное палило солнце; и пышные носились над Лиховом облака; и невылазная грязь, ничего себе: просыхала; с Божиею помощью; и городок уже, ничего себе: подсыхал; и отчаянный лиховец, заломив картуз набекрень, спешно бежал из лавки в лавку: покупал себе на базаре селедку, банку, для чего-то тыкал перстом в прелый кочан кислой капусты и кому-то показывал грязный свой кукиш; и его затолкали бы на базаре иные прочие лиховцы и особенно лиховки, кабы сам он не норовил затолкать всякого до полусмерти; на базаре скрипели телеги; с подгородными крестьянками городские ругались мещанки; тут был, по народному выражению, и *поп*, и *клоп*, то есть всякий тут был на базаре: и лиховец, и брюхатовец, и саратовец, и черномазый чмарец (черномазый народ проживал и в Чмари, и вокруг Чмари, хотя Чмарь была около семидесяти верст от Лихова – не более); черномазый чмарец расставлял колеса – колесо к колесу, а целебеевский попик, отец Вукол, Бог весть для чего очутившийся в Лихове, те колеса щупал руками, торгуясь с чмарцем: но чмарец не уступал, и поп Вукол, подобрав свою рясу, уж пустился от чмарца в базарную толкотню, потя и вздыхая: «Ох, прости, Господи; вот уж подлинно ни стану, ни сану никакого тут уважения нет...» А чмарец, как ни в чем не бывало, ругался с брюхатовцем за свое колесо, и козлихинец на них едва не наехал телегой.

В лиховской гостинице земские пьянствовали с утра: еще вчера они понаехали из уезда свои промеж себя решать дела: приехали, да и запили с утра: там вон пьянствовали они, в двухэтажном доме, что огненными своими окнами уставился на базар, а сбоку, как раз над базаром и рядом с гостиницей, пылала красная вывеска с жирными, синими буквами: «Сухо-руков»; и все тут: большего и не ожидайте – чего же больше?

С лихорадочной быстротой сгорел этот день; с лихорадочной быстротой ночь напала на Лихов; ночью вернулся в свой дом Еропегин, Лука Сильч; напился чаю в столовой; и опять почувствовал себя дурно: смотрит – не жена, а *лепеха* какая-то чашки перемывает там; выйдет в сад, – деревья шушукают: ой, недоброе что-то завелось в его доме; ходит за ним Фекла Матвеевна в страхе: ой, недоброе что-то под очками, в глазах то есть, у мужа блеснуло: смотрит – не муж там: просто седой, сухой, чужой какой-то, и притом хворый, подагрик.

Скучно им, душно им, тяжело им вместе.

Скучная, душная, тяжкая ночь – ночь июньская; в садах стучат колотушки; с горизонтов помаргиванье да посверкиванье; изредка громыхает тележка, да раз там, где-то, за небом, будто гири катали: гром, значит, был.

Красные, синие, серые, душные, грозные, ветряные над Лиховом совершаются дни, и исполняются вслед за ними воздушные, то слепые, а то грозного исполненные огня ночи; а столяр живет-поживет, не выходит из Лихова; то проберется тайком к Еропегихе, травушки принесет ей, то препирается насчет текстов с Сухоруковым с медником; то соберет мещан у Какуринских: бумаги какие-то там читают (да: – раз на заборе повисло с утра объявление с черным крестом о том, чтоб работы во имя духа бросал бы народ, господам бы не повиновался; снял урядник – прочел, да и в карман запрягал; так в народ не пошло объявление); великие приближались события: и уже братия знала, что дух голубинин человеческий приемлет лик, зарождается, тоись, от бабы... Уже давно не видать Абрама в Лихове; еще неделю тому назад он пошел по полям; а столяр все живет-поживет, – не выходит: наконец, собрался – пора: Матрена небось давно на «слабоде» молодчика окрутила. «Небось ночевать к ней молодчик ходит!» – думает про себя Кудеяров, усмехается в бороду: хитрый столяр: он нарочно ее там оставил, в Целебееве; работники постругают, да и уйдут: вечер Матрена одна; а под окнами – тот, Дарьяльский, что ли...

– Они, чай, давно принялись за дело: пора по домам.

Вот и Лихов за ним; обернись – только пыльная мгла на том месте, где Лихов; будто никакого такого не бывало Лихова.

– Вот тоже – Лихов! – усмехается столяр; он свертывает с шоссе, огибает хутор жирного человека: от бугра – к бугру, с овражка – на холмик; дальше – все дальше. И уже проходит Мертвый Верх.

Мертвый Верх пораспахали Фокины да Алехины; теперь – вокруг пашня; последний Алехин последнюю изъезживает полосу.

И уже за плечами последний Алехин. И там, в синей тьме, из ночного, из темного тока, с востока, над Целебеевым появилась темненькая фигурка, но казалось, что она – далеко, что не скоро она дойдет до села.

Глава третья. Вспомнил Гуголево!

– Да, да, да! (в лунном луче перед ним ржавая блеснула вода)... Уже ночь, скорее в Гуголево... (он перепрыгнул канаву: день, утро, вечер отдавала там гнилью вода). Неровен час..., и вы меня не смущайте, темные мои, мои века проклятые мысли! (сзади глядел на него, не мигая, зеленый глаз: то светляк).

– На село не пойду, в Божий храм более не войду и в глаза встречных баб не буду заглядывать... (грозные его обступили с одного бока сосны, шуршался орешник с другого с боку – с левого)... Знаю, что только ты, Катя, моя жизнь, и «да воскреснет Бог»... (папоротники, сырые, злые, омочили колено)... Ты прогони беса: ты отжени беса (он зашагал над канавкой, то пропадая в тени, то в белом белея изорванном меж стволами дыме, светлом и месячном)... Катя, родная!

Так шептал Дарьяльский, а под ногами низкорослый куст отшептывался от тоскливого, от бешеного его дыханья... Была ночь, а парило, как в Троицыну ночь возвращался Дарьяльский из Целебеева по лесной тропе, вдоль канавы лесной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.